КОСТРЫ НА СНЕГУ

В. ТЕНДРЯКОВ

КОРОТКИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

В. Тендряков

Владимир Федорович Тендряков родился в 1923 году в деревне Макаровская Верховажского района Вологодской области.

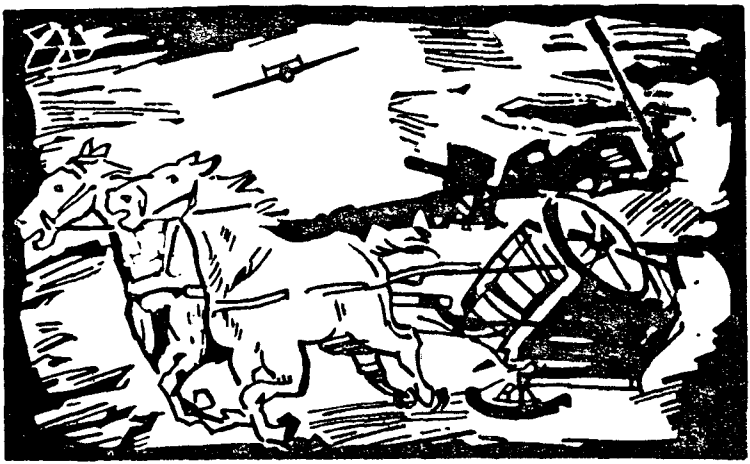
В годы Отечественной войны был радистом стрелкового полка, в боях за Харьков был ранен.

После войны окончил Литературный институт имени Горького, работал корреспондентом журнала «Огонек». Первый рассказ напечатан в 1947 году в альманахе «Молодая гвардия».

В 1953 году В. Тендряков публикует повесть «Среди лесов», очерк «Падение Ивана Чупрова», в 1954 — очерк «Ненастье», повесть «Не ко двору», в 1956 — повести «Ухабы» и «Саша отправляется в путь» («Тугой узел»). Затем выходят повести «Чудотворная» (1958 г.), «Тройка, семерка, туз» (1959 г.), роман «За бегущим днем» (1959 г.), повести «Суд» (1960 г.) и «Чрезвычайное» (1961 г.), «Короткое замыкание». (1962 г.).

Костры на снегу

Издательство
„СОВЕТСКАЯ РОССИЯ“
Москва — 1964



«Я НА ГОРКУ ШЛА...»

Давно вышли из строя старушки 6-ПК, про которых радисты говорили: «Шесть-пэка натрет бока»,— полк получил новые радиостанции. Меня назначили начальником одной из них.

Есть начальник, есть поблескивающий ручками на панели управления благородно серый инструмент 12-РП в двух упаковках. Не хватало лишь подчиненного штата.

Положено три радиста, но где там три... Сняты с полевых кухонь помощники поваров — меняй черпак на винтовку, иди в роту, окапывайся, стре-

ляй. А помощника повара радистом не поставишь.

Хожу в начальниках, оглаживаю рацию, надоедаю своему непосредственному начальству — командиру радиовзвода лейтенанту Оганяну:

— Даешь штат!

— Обещают.

— Троих?

— Одного.

— Ну, двоих выхлопочи.

Оганян молчит, напускает на себя значительность. Он и сам хотел бы троих. Одна надежда — Оганян упрям, авось переупрямит.

Не вышло.

У нашей землянки появляется парень — плотноват, плечист, с выправочкой бывалого вояки, лицо кругло и румяно, как домашний пирог, и по всему лицу от уха до уха растеклась улыбка — предел добродушия,— чуть-чуть приправленная снисходительностью. Улыбается, словно говорит: «Не тушуйся, я — парень простой...»

А я и не собираюсь тушеваться — как-никак начальник, не хватай голой рукою.

— Солнышков.

— Что — солнышко?

— Не солнышко, а Солнышков, фамилия моя такая. Зовут Виктором.

А физиономия лучится улыбочкой. При такой физиономии да такая фамилия — ну и ну, попадание в яблочко.

Я веду улыбчивое Солнышко к зуммерному столу.

Мы уже давно стоим в обороне, не только выкопали землянки с накатами, не только пробили от землянки к землянке тропинки, но даже соорудили перед своим вхо-

дом такую роскошь, как зуммерный стол с ключами и гнездами для наушников. За этим столом мы время от времени тренируемся в приеме и передаче «морзянки». Время от времени, не насилуя себя, так как наш лейтенант Оганян покладист, считает, что фронт и без того тяжел, незачем излишне обременять солдата.

Солнышко сел за стол, покосился на ключи, но улыбается так, словно я не будущее его начальство, а милейшая теща, собирающаяся поставить перед ним масляные блины и забористый первачок.

— Ты работал радистом?

— Угу.

— Батальонным? Полковым? В артиллерии?

— На «катюшах».

Ответы мгновенны, никакого раздумья, взгляд прям, открыт, добр, и ни на секунду не сходит задушевная улыбочка с полных губ.

— На «катюшах»? Ого!

О «катюшах» в окопах рассказывают легенды. И всякий, кто хоть как-то был связан с этим таинственным и могучим оружием, сам легендарен для пехотинца. Вот ведь где побывал парень, хотя я бы предпочел, чтоб он пришел ко мне с флота или из авиации — там классные радисты.

— На ключе работал?

— На чем?

— На ключе. Вот на этой штуке.

Улыбка и ответ:

— Немного.

Не так-то просто оценить мастерство, скажем, бухгалтера или артиллериста. Надо долго испытывать, приглядываться, да и после этого не всегда-то появляется твердая уверенность — справляется на «пять» или вытягивает на «тройку». Но мастерство радиста узнается сразу, и с мате-

матической точностью, стоит только задать вопрос. И я его задал:

— Сколько групп принимаешь?

— Чего?

— Сколько групп цифрового текста на слух?..

И впервые Солнышко на секунду замялся, но только на секунду, не больше.

— Сколько? Да сорок.

— Сорок!

На меня напала робость. А вдруг — да, чем черт не шутит... Лучшие наши дивизионные радисты принимали тогда на слух двадцать три пятизначных группы в минуту. Двадцать три — лучшие! А я, обученный впопыхах за какой-нибудь месяц в школе младших командиров, я, от природы не блиставший способностями, один из тех, кому «медведь на ухо наступил», принимал всего восемь групп, ну, при удаче и усердии — девять. Сорок! Я даже не знал, существуют ли такие виртуозы. Наверно, существуют. Вдруг да редчайший экземпляр сидит передо мной, глядит счастливыми глазками мне в зрачки, улыбается: ничего, мол, не тушуйся, я — парень простой.

— Вы... —начальническая спесь слетела с меня, я стал заикаться от уважения.— Вы не ошиблись?

— Ну, может, не сорок, может, двадцать. Точно не помню.

— А может, пять или четыре? — спросил я.

— Может, и пять, — охотно согласился он.

Я сердито уставился на него, а он глядел невиннейше, глядел и улыбался, и в его улыбке — все то же: «Ты не тушуйся, сам видишь: я — парень простой».

И я не выдержал гонора, расхохотался. Счастливо засмеялся и он.

— Ну, ладно, скажи: кем был?

— Минометчиком. Командиром батареи быть приходилось.

Ну уж нет, теперь меня так просто не купишь — был бы командиром, хоть какие-то знаки различия на петлицы нацепили, а они чисты.

— Плиту таскал?

— Таскал.

— Вот этому верю. Раз плиту таскал, будешь таскать и рацию. Спина, вижу, крепкая.

Я ведь знал, что мне все равно другого не дадут, выбирать не приходится.

Так у меня появился подчиненный — первый и единственный в жизни, других не имел.

Из всей радистской премудрости Витя Солнышко усвоил на слух лишь две цифры — «двойку» и «семерку». Первая напоминала по звуку фразу: «Я на горку шла...» последняя — «Дай, дай закурить...» Но в нем сразу же открылся талант — быть там, где его не ждали.

В первый же день моего начальствования я высунув язык бегал по штабу полка, искал своего подчиненного. Был на кухне, был в землянке связных, сбегал в тыл к обозникам, всюду спрашивал:

— Не видали Солнышка?

Мне отвечали:

— Задери голову. Вон же висит, никуда не упало.

Наконец я рванулся к телефонистам, чтоб обзвонить все штабы батальонов, и увидел рядом с дежурным по коммутатору его, Солнышко, как всегда, счастливо улыбающегося.

На другой день я встал пораньше, чтоб мой подведомственный штат не успел испариться, поднял с нар:

— Идем, буду учить, как разворачивать рацию.

Вышли в степь. Я стал показывать, как укреплять шесты, как разбрасывать усы антенны. Витя Солнышко потел, усердно бегал вокруг меня, присаживался у развернутой радиостанции, а я колдовал с высокомерным видом древнеегипетского жреца:

— «Тюльпан»! «Тюльпан»! «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Я — «Клевер»! Как слышишь? Как слышишь? Даю настройку: раз, два, три, четыре, пять... Пять, четыре, три, два, один... Как слышишь? Я — «Клевер»! Прием.

Щелчок переключателя, шорох и хруст в наушниках, а затем буйно-напористый голос с полковой радиостанции:

— «Клевер»! «Клевер»! Я — «Тюльпан»! Слышу вас хорошо. Прием.

И Витя Солнышко восторженно шлепал себя по ляжке:

— Ах ты, кузькина мать! Аж в ухо бьет...

Не удивительно — полковая радиостанция находилась в каких-нибудь пятистах шагах от нас.

Наконец я доверил Вите Солнышко микрофон, приказал:

— Сам установи связь.

Солнышко решительно взялся за дело.

— «Клевер»! «Клевер»! Эх, так твою перетак! Спутал... «Тюльпан»! «Тюльпан»! — заорал он на всю степь.— Как слышишь?!

— Слышу, дай бог. Даже без рации,— последовал ответ.

— Вот ведь техника! — умилился Солнышко.

Когда я доверил Вите упаковку питания, он от усердия такого наплел, что чуть не сделал короткого замыкания. Мне пришлось долго ковыряться.

Наконец анодные батареи были прикреплены к своим клеммам, аккумулятор — к своим, я поднял голову:

— Напортачил... Ну, вот... Все в порядке...

Однако не все в порядке. Вити Солнышко не было на месте. Там, где он сидел,— лишь примятая полынь. А только что минуту назад я слышал над ухом его виноватое сопение.

Справа, слева, спереди, сзади нет — исчез! Степь пуста, только в стороне возятся незнакомые артиллеристы с пушкой.

— Эй! — крикнул я слабо.— Хватит в прятки играть! Вылезай!

Не тут-то было. Спрятаться можно только в сурчиную нору — степь, как блюдо. И меня охватило отчаяние — кого это мне подсунули? Что у него вместо пилотки — шапка-невидимка на башке?

Как ни совестно, а пришлось связаться с полковой рацией:

— «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Не сбежал к вам Солнышко?

— «Клевер»! Я — «Тюльпан»! Опять закатилось? Сочувствуем. Здесь вроде не светит...

— «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Буду сворачиваться...

— Сворачивайся, «Клевер». Но как ты притащишься с двумя упаковками?

— Как-нибудь притащусь. Черт бы побрал помощника...

Я один свернул радиостанцию. Шесты, оттяжки, две упаковки по бокам — я, груженный, словно ишак, побрел к штабу с твердым намерением предстать перед лейтенантом Оганяном, потребовать: даешь другого!

Но едва я сделал пять шагов, как Солнышко вырос передо мной потный, пыльный, с мазутным пятном на щеке, с широченной улыбкой — счастливый человек, не ведающий о своей вине.

— Артиллеристам помогал... В воронку ввалились...

И я непедагогично раскричался:

— Шалава! Ты и в бою такие нырки устраивать будешь? Сегодня же доложу! Полетишь к чертовой матери из радистов! С меня хватит. Пусть другие нянчатся!

А Солнышко задушевнейше улыбался: «Ты не тушуйся зря... Сам видишь, — я прост, не хотел тебя обидеть».

Он взвалил на свои плечи и приемопередатчик, и набитую тяжелыми батареями упаковку питания, зашагал бодро, улыбаясь в открытую степь.

Опускалось солнце, в лицо дул вечерний, прохладный ветерок.

И я размяк...

Мы меняли оборону, были походы. Телефонисты не успевали наводить связь. И тут радисты, от которых наше командование обычно отмахивалось: «Э-э, вижу, да не слышу, прóволочка надежнее»,— оказались нужны.

В походах я держал Витю Солнышко за гимнастерку. Он нес упаковку питания и в любую минуту мог исчезнуть, и тогда наша радиостанция будет нема, как камень.

Новые места, новые землянки, новая жизнь.

Немецкие батареи утюжили степь, перепадало и нам, приютившимся в пологом овражке. Один снаряд пролетел под брюхом старой коняги, таскавшей полевую кухню, подпалил, сказывают, даже шерсть, срубил жиденькую ветлу, врезался в землю и... не взорвался. Случалось и такое.

Отбивалась одна атака за другой, передовая захлебывалась.

Я устал следить за Витей Солнышком.

Пролетевший «мессер» обстрелял повозки, подвозив-

шие боеприпасы к минометной батарее, уложил одного и ранил второго повозочного. Старшина, сопровождавший повозки, растерзанный, с дергавшейся от контузии щекой, метался среди степи.

И, конечно, старшине подвернулся ни кто иной, как Витя Солнышко, улизнувший из-под моего надзора. И, конечно, он, не раздумывая долго, взгромоздился на одну из повозок, погнал коней через степь, к передовой...

Среди окопанных минометов, выставивших стволы к синему небу, метался лишь командир батареи, остальные сбежали. С пологого взлобка скатывались немецкие автоматчики, падали в высокую траву и ползли. Командир батареи снимал замки...

Автоматные очереди хлестали по огневой, курилась пыль, брызгали комья глины от брустверов. Обычно летящие в воздухе пули высвистывают застенчиво и вкрадчиво, сейчас они истерично визжали, рвались сухими хлопками. Автоматчики били разрывными.

И в это-то время на место, откуда сбежали не новички, а обстрелянные солдаты, ворвалась пара взмыленных коней, запряженных в повозку. Витя Солнышко стоял во весь рост и нахлестывал разгоряченных лошадей, обезумевших от близкой автоматной трескотни, свирепого визга пуль, остановить их было нельзя, они могли унести и ящики с минами, и лихого повозочного прямо к немцам. Витя направил лошадей на окоп, они перемахнули, а повозка влетела колесами и перевернулась, вывалив прямо на батарею мины, а заодно и самого Солнышка.

Лошади помчались через высокую степную траву, перевернутая повозка кидалась из стороны в сторону, спугивая на пути автоматчиков.

А Солнышко, схватив из разбитого ящика мину, бросился к миномету. С ним-то он умел справляться куда

лучше, чем с радиостанцией 12-РП. Подскочил и командир батареи...

Первая мина разорвалась в траве, неподалеку от рухнувших коней. Сразу же выскочили сутуловатые фигуры автоматчиков, пригибаясь, бросились назад, на пологий склон взлобка, столкнулись с теми, кто спускался, перемешались, замялись.

Вторая мина, взвыв к небу, описав крутую дугу, опустилась в сутолоку на склоне... За ней еще и еще... Автоматчики бросились врассыпную...

На пригорке остались только трупы и воронки. Принялись бросать за пригорок наугад, для острастки... Трудились до тех пор, пока не упали в бессилии, и Витя Солнышко счастливо известил:

— Прикурить дали...

А командир батареи вдруг расплакался. Он был еще очень молод, моложе самого Вити Солнышка.

— Ты чего? — от души удивился Витя.

— Думал: или эти прихлопнут, или... или... расстрел. Батарея-то драпанула... Они ползут, и конца им нет...

Мне не рассказал Витя, что́ он ответил, думаю, просто улыбнулся: «Не тушуйся, парень...»

Оправившись, командир батареи вдруг спросил:

— Да ты-то кто?

И, конечно, Витя не без гордости ответил:

— Радист.

Тут же, немедля, решил удивить своими знаниями:

— На слух принимаю... Вот слушай: «двойка» — «Я на горку шла...» Уловил? А вот: «Дай, дай закурить...» Уловил? Это, брат, «семерка».

Но командир минометной батареи, размазывавший по лицу грязь пополам со слезами и по́том, не сразу оценил ученость Вити Солнышка.

Тут появился хромающий на обе ноги, с дергающейся щекой старшина, который вел за собой сконфуженных минометчиков.

Старшина выглядел теперь иным — не растерянный и растерзанный, а грозный начальник, спасший положение:

— Дерьмоеды! Курицы мокрые! Ишь, разлетелись, сучьи дети!..— кричал он на минометчиков.

— Коней я тебе угробил,— сообщил Солнышко.— Вон там лежат... Кони добрые, должно овсом кормил...

— Коней достанем. Я ведь за тобой на второй повозке гнался, у меня тоже правую подшибло... Спасибо тебе, парень. Счастье мне, что на такого героя наскочил... А эти?..— Грозный старшина повернулся к минометчикам: — Минометы побросали! Я бы вас, сукиных сынов, уж тогда заставил поплясать! Вы бы у меня повертелись, блохи прыгучие! Кланяйтесь в ножки парню, что выручил.

Солнышко не стал вмешиваться во внутренние дела, решил проститься:

— Ну, бывайте здоровы, мне пора.

— Да ты кто есть-то? — спохватился и старшина.

— Радист,— почтительно ответил за Витю командир батареи и еще почтительнее добавил: — На слух принимает.

Других сведений о Вите Солнышке он сообщить не мог.

А в это самое время я занимался привычным делом — бегал по штабу полка и справлялся:

— Солнышка не видали?

И мне сочувствовали:

— Опять закатилось?

— Закатилось, холера. Чуть отвернись — уже нет. Жизнь проклятая, буду проситься в телефонисты.

Он появился к вечеру. Я застал его в землянке. Сжав коленями котелок, он уписывал кулеш. Взглянув на меня, с набитым ртом поприветствовал своей неизменной улыбочкой.

— Что мне с тобой делать? — в лоб спросил я.

Но вразумительного ответа не дождался. Солнышко улыбался.

А утром радистов одного за другим стали таскать в штаб полка. Принимал сам командир, подполковник Усиков.

— Кто из вас лучше всех принимает на слух?

Первым назвали Квашнина, он из кадровых, старый радист, вряд ли уступит в приеме на слух армейским и дивизионным радистам.

— Где был вчера от трех часов до шести?

— Дежурил. Ровно в пятнадцать ноль-ноль связывался со штабом дивизии.

— Не подойдет. Кто из вас еще хорошо принимает на слух?

Перебрали всех, дошли до меня.

— На слух принимаешь?

— Так точно. Немного.

— Хотя бы немного. Где был вчера от трех до шести?

— Здесь, товарищ гвардии подполковник!

— Где это — здесь?

— В штабе полка, товарищ гвардии подполковник!

— Где именно?

— Искал Солнышка.

— Но-но, без шуточек.

— Виноват, Солнышкова. У меня радист — фамилия Солнышков. Его искал, товарищ гвардии подполковник.

— Ах, есть еще радист?

— Недавно назначили.

— Он на слух принимает?

— Никак нет, товарищ гвардии подполковник!

— Так какой же он радист?.. А впрочем, других больше нет. Позови-ка сюда это... как его, Солнышко...

Всем было ясно: случилась какая-то неприятная заварушка. Сам командир полка разбирается. А кто еще из радистов мог отлучиться и набедокурить, как не Витька? И мне стало жаль его.

В душе я надеялся, что его, как всегда, придется долго искать, а там, глядишь, случится что-нибудь — или приказ о наступлении, или вызов командира полка в штаб дивизии. Замнется, забудется, мимо пройдет.

Но на этот раз Витя Солнышко был на своем месте. От безлюдья он нашел себе занятие — надраивал полой шинели алюминиевый котелок и пытался разглядеть свою глупую рожу в донышко. При этом сам себе улыбался.

— Иди, командир полка тебя вызывает.

Нисколько не смутился, нисколько не удивился, словно командир полка вызывал его каждый день не по одному разу. Оправил под ремнем гимнастерку, надвинул пилотку — на два пальца над бровью,— с сомнением поглядел на свои пыльные, покоробленные кирзовые сапоги — стоит ли их чистить; решил: не стоит, сойдет и так,— двинулся, пристукивая каблуками, унося затаенную улыбочку — отзвук той, с какой гляделся в дно котелка.

Вернулся через полчаса — над круглой физиономией торчит пилотка, край на два пальца над несуществующей бровью, заправочка — как положено, улыбочка — как всегда: «Не тушуйся, я здесь...»

— Ну?..
— К ордену представляют.
— За что?
— Немцев остановил. Наломали бы дров...
— Не пойму... Какой орден?
— Может, Красного Знамени, может, Ленина.
— Героя не хочешь?
— Может, Героя, а что?

Его представили к ордену Красной Звезды. Но от представления к получению— путь немалый, на этом пути случаются и кочки.

До сих пор был лозунг: «Вперед, на запад!» Сейчас на танках, поддерживающих наш полк, выведены надписи: «Вперед, на восток!» Сталинград лежал к востоку...

На пути наступления подвернулись землянки.

Неплохо немцы тут обжились. Первые, кто заскочили в землянки, дивились:

— Эва! Музыкой забавлялись.

Щупали черный рояль.

— Мать честная! А зеркало-то! Откуда такое сперли?..

Ворочались перед огромным трюмо, любовались — рожи грязные, ошпаренные морозом, мятые, пузырящиеся под ремнями шинели, кирзовые подсумки, сумки с гранатами, обвисшие подшлемники, косо сидящие каски — хороши, так и подмывает шарахнуться от самого себя.

Но кто-то шмякнул свой вывоженный в окопах вещмешок на крышку рояля, в валенках, в полушубке полез на инструмент:

— Эхма! Разведу сейчас музыку — три ночи не спал.

Другой ткнул его в зад:

— Пододвинься-ка, место двуспальное...

Были тут и широкие нары, укрытые ковром. На них лишь завистливо косились, но не занимали — тут начальство заляжет.

Устроились в два этажа: на нарах — командир батальона со своим штабом, под нарами и на полу, спина к спине, голова к голове — телефонисты, рассыльные, мы — радисты, — какие-то случайные солдаты из взвода ПТР со своими неуклюжими, как старинные пищали, ружьями. Их пробовали выставить на мороз, но где там — угнездились, огрызаются, дымовыми шашками не выкуришь. Набились так, что ладонь ребром не протиснешь, к выходу по малой нужде пробирайся по плечам, ногам, головам.

Солнышко рядом со мной, держу на прицеле, не отпускаю от себя ни на шаг. Но вот поднялся.

— Куда?

Лезет к двери, мнет лежащих, те ругаются:

— Полегше, дядя. Не мостовая — люди живые.

— Куда?

— Терпежу нет... Сейчас вернусь.

Вернулся, не обманул, но застрял, не доходя до меня, возле сержанта Степанова из телефонистов. У Степанова влажные, доверчивые глаза, лицо без хитрости, а сам — пройдоха, каких мало. Выманил у меня старую добротную полевую сумку на подметки для сапог, обещал сала. Сапоги он себе сшил, а сала — выкуси. Солнышко и Степанов шепчутся, к ним прислушивается солдат из ПТР — острая морщинистая физиономия старой лисы. Не к добру.

— Солнышко!

Ползет ко мне.

— Что там затеял?

Сдвинул шапку на лоб, почесал затылок, чуточку обескуражен, только чуточку, на большее никогда не хватало.

— Слушай, младший сержант... Отпусти на часок.

— Эт-то куда?

— Да надо.

— Ложись и спи.

— На нейтралке, в овраге,— немецкие склады...

— Ну и что?

— Как — что? Говорят, спирт в канистрах — залейся. Консервы разные...

— Ладно, ладно, забудь.

— Ты пивал коньяк?

— Ну, нет.

— А я пил.

— Положим...

— Хочешь, принесу?.. Заграничный! Запах, что духи.

— Коньяк тебе нужен! Шило в заднице!

— На часок, на один часок!

— Ложись!

Я неумолим. Вдруг да отдадут приказ — вперед! Останусь с двумя упаковками, без помощника. Нет уж, дудки, сегодня не выгорит.

Витька повздыхал, поканючил, поерзал — уронил голову на вещмешок, через минуту спал сном младенца.

Уснул и я...

Проснулся оттого, что мой бок никто не греет. Поднял голову— рядом пусто, Солнышка нет. Приподнялся на локте: черт бы всех побрал, нет и Степанова, да и старик солдат из пэтээровцев исчез.

Смыться во время наступления — это уж слишком. Взять бы да доложить... Но на фронте не церемонятся: самовольный уход расценивается как дезертирство — если не расстреляют, то как пить дать упекут в штрафную роту. Как ни зол на Солнышка, а подводить под монастырь желания нет.

Кошусь на дежурного телефониста. Он в любую мину-

ту может встрепенуться, почтительно дернуть за хромовый сапог комбата:

— Товарищ капитан! Вас — ноль-один. Срочно!

Ноль-один — командир полка, он отдаст приказ о наступлении. И всколыхнутся все, а я буду сидеть у двух тяжелых упаковок, как баба-мешочница на вокзале, пропустившая поезд.

Но телефонист, распустив губы, дремлет без шапки у телефона, веревочная петля наброшена на стриженую голову, с ее помощью телефонная трубка без рук держится у уха... Ходуном ходит землянка — невпроворот сап и храпение, все спокойно...

Наступая на плечи, руки, головы, выслушивая сонные ругательства, я выбрался на волю...

Темноту хоть режь ножом, только у самых ног серовато маячит снег. Идет ленивая ночная перестрелка. Пролает автоматчик с той стороны, наш ответит: «Слышишь, не сплю, сукин ты сын, так-то...» Очнется от дремоты третий, четвертый, тоже для порядка пустят очередь в черные небеса, забрешет вразнобой передовая, как разбуженные собаки в деревне.

Выкатилась ракета, выписала знак вопроса, погасла, не долетев до земли... После ракеты перестрелка не разгорелась, а увяла, значит — ползущие под немецкие окопы Витя Солнышко с приятелями не замечены...

Все спокойно. Такое спокойствие может длиться час, два, сутки, трое суток, недели и месяцы. Под Старыми Рогачами всем казалось, что остановились на часок, а простояли два месяца... Все спокойно...

Я влез обратно в теплую, густо запашистую землянку, добрался до своего места.

«Эх, сниму стружку!»

Через несколько минут я спал.

Они перекурили с солдатами, сидевшими в передовых окопах, предупредили их: «Обратно полезем, дуриком-то не стреляйте, еще ухлопаете...» Командиру роты обещали поднести при удаче. Командир роты не остановил их, что ему: не его состав, головы потеряют — он не ответит.

Ползли тихо, зарывались в снег...

Нейтральная полоса — место для разгону, нельзя же сидеть с противником нос к носу вплотную. Нейтральная полоса — земля, из которой уже вышибли противника, но не прибрали еще к рукам. Земля неизведанная, неразгаданная, такая же таинственная, как и намерения врага. Откуда обычно узнаются сведения, что там, в непрощупанной полосе, находятся богатые склады?.. А, как правило, узнаются, распространяются с быстротой молнии среди солдат. До командования они доходят в последнюю очередь.

Ползли тихо, зарывались в снег...

Немецкий пулемет бил поверх их голов, куда-то в тыл к нам. Трассирующие пули рвали на клочки темноту.

Перележали и вспыхнувшую ракету. Их не приметили только потому, что немцы и подумать не могли — русские решатся разгуливать возле их окопов.

Ракета осветила склон оврага, в нем — темные двери землянок, возле которых снег измят скатами машин. Склады!

Дверей много, склады разные — обмундирования, горючего, боеприпасов. Звериным чутьем угадали те, какие нужны.

Подползли и... рывком к двери — один, второй, третий... Прислушались —тихо. Порядочек, теперь уж так просто отсюда не выкурят.

Поплотней прикрыли за собой дверь, посветили фонариком. Бочки, ящики, бумажные мешки. Кажется, не

ошиблись. И запах провиантского склада — затхло-влажный с кислятинкой.

Нашарили парафиновые плошки. Там, где были немцы, всегда валяются эти плошки и пакетики сухого спирта. Этот спирт — не спирт, огнем горит, пить нельзя.

Зажгли плошку, поставили на бочку, огляделись уже внимательнее, с прикидкой — с чего начать?

Нет, не ошиблись!..

Сорвали крышку с первого ящика — пакеты с пестрыми наклейками, верно, концентраты. Ну их к чертям! Второй ящик набит, как снарядными головками, банками консервов. Уже кое-что...

В углу в плетеных корзинах, каждая в своем гнезде,— пыльные, богом и людьми забытые бутылки. Поднесли к свету одну, склонились голова к голове, поразмышляли над мудреной этикеткой: «Черт ее знает! А вдруг какая-нибудь жидкость от вшивости...» С грехом пополам — все трое грамотеи, как на подбор,— разобрали:

— Вроде «ром» написано?..

— Что-то похоже.

Все-таки не поверили, выковыряли пробку, приложились по очереди, глянули проникновенно друг другу в глаза — вонюч, как буряковый самогон, значит, пить можно.

Не ошиблись!..

Начали набивать вещмешки, не торопясь, без жадности, с умом — бутылку от бутылки прокладывая стружкой, чтоб не побились, банки консервов захватили на закуску.

Мешки набиты, снова переглянулись, без слов поняли друг друга. Во-первых, зачем нести добро только в мешках, когда можно унести и в собственном брюхе? Во-вторых, не мешает обстоятельно проверить разные марки —

какая лучше. В-третьих, под богом ходим, вдруг да на обратном пути шлепнет, так и умрешь, не понюхавши,— совсем обидно.

Выдвинули бочку, подставили ящики. Садись, братва, не стесняйся, будьте, как дома. Расковыряли банку консервов, прикинули бутылку с одной этикеткой, с другой. По этикетке и выбрали ту, какая меньше раскрашена,— ну их, фокусы.

Крякая и закусывая, опорожнили, сообщили доверительно:

— А ничего...

Принялись за вторую:

— А ничего...

Почали третью...

Наконец спохватились: пора и честь знать. Взвалили на плечи мешки.

Сюда ползли — зарывались в снег, сейчас — это лишнее. Расхлобыстнули двери:

— Не закрывай. Завтра наши придут.

По-прежнему шла ленивая перестрелка. Били автоматчики. Плевать, пусть стреляют.

Обнялись, двинулись, услужливо поддерживая друг друга. Эх, море по колено! Споем, братцы! Почему бы и нет. Грянули:

Я уходил тогда на фронт
В далекие кра-а-я!..

Перестрелка разом смолкла. Далеко в стороне еще тявкал чей-то автомат, но и он сконфуженно заткнулся. Тишина, непривычная, пугающая тишина.

А в тишине от всей души:

И в Томске есть, и в Омске есть
Моя любимая...

Немецкие автоматчики, зарывшиеся в земле и снегу в нескольких шагах от песни, не стреляли. Неспроста, подвох, черт знает этих русских...

Автоматчики не стреляли, а должно быть, немецкую оборону лихорадило в эти минуты: кричали телефонисты, подымались с угретых нар офицеры, выскакивали к орудиям расчеты...

И в Омске есть, и в Томске есть...

Сбились, запамятовали слова, незлобиво переругнулись, затянули другую:

Эх ты, Галю, Галю молоденька!..

Их накрыл шестиствольный миномет уже у наших окопов, песня оборвалась, попáдали в снег... Мины рвали на клочки мерзлую землю, стень дергалась от огненных всплесков. Над хмельными головами исчезло темное небо.

Едва кончилась первая партия выпущенных мин, как снова раздался несмазанный скрип — шестиствольный миномет посылал новые мины. И снова заснеженная земля выворачивалась суглинистой изнанкой...

Ответили наши минометные батареи, ударили с тыла орудия. Вовсю заговорили онемевшие автоматчики...

До утра не успокаивалась взбаламученная передовая.

Утром перед нашей землянкой вырос Витя Солнышко — лицо серое, глаза тусклые, ворот шинели в черной крови, в пятнах засохшей на шинельном сукне крови плечо и грудь.

— Витька! Ранен?

— Угу.

И, шатнувшись, обессиленно повалился навзничь.

Я бросился за санинструктором.

Подвернулся фельдшер, тонкий, ловкий, с кошачьими, ласковыми движениями. Распотрошив свою сумку, он обмыл шею, положив голову Солнышка на колени, быстро перебинтовал.

— Жив?— спросил я.

— Наполовину.

— Умрет?

— Вряд ли.

— Рана опасная?

— Самая чепуховая — кожу на шее осколком рассекло.

— Но что с ним? На ногах не стоит.

— Не удивительно. Мертвецки пьян.

Мне удалось засунуть Витю Солнышка под нары, в самый дальний угол,— пока начальство хватится, авось очухается.

И начальство хватилось. По телефону передали: сержант Степанов убит наповал в голову, незнакомый пэтээровец умер на ротном КП, ему осколком вырвало живот.

В батальон срочно прибыл лейтенант Оганян, заглянул под нары, покачал головой, почмокал губами:

— Нехорошо... Ка-кой молодой!.. А?.. Что из него дальше будет? Порядочный человек или негодяй?

Меня же волновала не столь далекая судьба Вити Солнышка, а та, которая должна решиться в ближайшие дни. Так просто с рук не сойдет, передадут в военный трибунал. Мне тоже достанется...

А из-под нар время от времени высовывалась рука, грязная, цепкая, как лешачья лапа, хватала протянутый котелок, потом несколько минут из подвальной глубины слышалось сопение, чмоканье, чавканье — пустой котелок вылетал наружу, и снова — тихо; до тех пор пока кухня не станет раздавать обед,— жив Витя Солнышко или почил в мире, никому не ведомо.

Оганян обещал прислать мне нового человека, но не успел.

Подняли — вперед!

Витя Солнышко вылез на белый свет, грязный, опухший от своего медвежьего сна, как сытый кот, добродушно хмурящийся на суету. Он решительно натянул на себя лямку упаковки питания.

В наступлении некогда разбирать внутренние неурядицы — шагай вперед, не оглядывайся вокруг. Но после-то наступления — оглянутся, вспомнят, возьмут Солнышка за воротник.

А Солнышко полностью ожил, а ожив, стал допрашивать меня с пристрастием:

— Ты ром пил когда-нибудь?.. Не-ет. А я вот попробовал.

В наступлении батальонный радист должен находиться рядом с командиром батальона — не отставай ни на шаг.

Наш комбат-два, капитан Гречуха, долговязый, сутуловатый, подбородок в мрачной щетине, хотя был щеголем — и брился каждый день, и в самые сильные морозы ходил только в хромовых сапожках.

Мне казалось, что в этого человека просто природа позабыла вложить чувство страха; случалось, он хватал ручной пулемет и вместе с солдатами шел в атаку, полосуя на ходу из пулемета. Солдаты его боялись куда больше, чем целого батальона немцев.

Он лез в самое пекло, за ним лез и я, да еще должен глядеть краем глаза, чтоб Солнышко, несущее упаковку питания, не сбилось с пути, не закатилось куда-нибудь на сторону. Комбат Гречуха длинноног, всей ноши у него — пистолет да планшетка, а одна упаковка рации весила около двадцати килограммов. Поспеть за комбатом можно

было лишь при отчаянном усердии. И мы усердствовали, всегда поспевали. Но самое обидное: комбат никогда не обращал на нас внимания, не пользовался радиостанцией.

Он не боялся пули, но недоверчиво относился к снарядам: «Прихлопнет — не узнаешь, кто тебя стукнул...» (Словно, если узнаешь, от этого легче.) Развернутая радиостанция вызывала у него раздражение:

— Раскорячились. Запеленгуют, лови тогда снаряды... А ну, подальше с этой шарманкой!

И вот мы ему понадобились.

Роты залегли перед маленькой станциюшкой. Впереди ровное место, пересеченное железнодорожными путями, густо-бурачного цвета водокачка, голые деревья окружали две копотно-черные трубы — место бывшего станционного здания.

С водокачки бил пулемет, заткнуть его можно было только артиллерийским снарядом.

Капитан Гречуха ругался, обещал снять семь шкур с каждого телефониста — они путались со своими катушками где-то далеко в степи.

И тут-то Гречуха вспомнил:

— Где здесь эти, с ящиками?

По цепи метнулась команда:

— Радистов к комбату!

Метнулась и заглохла, потому что я находился рядом.

Быстро выкинул штыревую антенну, раскрыл приемопередатчик и с досадой оглянулся, почему Солнышко не подсунул мне под руку вилку от кабеля с упаковки питания. Но ни Солнышка, ни упаковки питания, увы, не было.

— Солнышко! — в отчаянии позвал я.

И кругом засмеялись. Но из-под сросшихся бровей мол-

ча смотрели на меня темные глаза комбата, в них-то смеха не было.

— Солнышко!!

Кто-то спросил в стороне:

— Может, тебе заодно и луну с неба?

Комбат глухо произнес:

— Ну!.. Есть связь?..

Если б у меня под рукой был пистолет или автомат, я бы в эту гнуснейшую, самую позорную в моей жизни минуту, не задумываясь, пустил себе пулю в лоб. Но пистолетом я пока не обзавелся, а автомат мы держали один на двоих — таскать на шее и радиостанцию и увесистое оружие тяжеловато. Автомат мы носили по очереди, сейчас вместе с ним, как и с упаковкой питания, где-то гулял Солнышко.

— Ну?!

— Связи нет и не будет,— ответил я. — Расстреляйте меня.

— Почему?

— Помощник сбежал с половиной рации.

Комбат пошевелил кобуру на поясе, сказал:

— Тебя, сморчка, я не трону. А твоего помощничка — уж добьюсь — в расход пустят.

В это время подоспели обливающиеся потом телефонисты, протянули нитку. Расторопно подключили аппарат, деловито стали вызывать:

— «Левкой»! Это «Ромашка»... Сидим в квадрате сорок пять. Мешает водокачка. Срочно подбросьте «огурчиков».

И «огурчиков» подбросили...

Через сорок минут мы захватили станцию. Я уже не бежал в хвосте у комбата. Я ненавидел Солнышка, в эти минуты мне было нисколько не жаль, что его расстреляют. А то, что это случится, сомневаться не приходилось: комбат-два слов на ветер не бросал.

Мы только что расположились под разбитой «огурчиками» водокачкой, телефонисты едва успели заземлить свой телефон, как раздался голос:

— Товарищ капитан! Гостей ведут!

Комбат поднялся, в его неподвижно-тяжеловатом с мрачным подбородком профиле я заметил легкое удивление.

Через покалеченный, тощий пристанционный скверик вышагивали два немца, и, видать, не простые солдаты. Один, подтянутый, высокий, с непокрытой благородной седой головой, глядел в землю. Второй, поплотней, пошире, в кепи с наушниками, в длинной, заплетающейся в ногах шинели, суетливо оглядывался и спотыкался на каждом шагу.

Высокий и седой шел как-то скособочившись. Я вгляделся и ахнул: немецкий офицер нес нашу упаковку питания. Да, нашу! Уж ее-то я мог узнать издалека.

Немцы подмаршировали ближе. Сзади них, с автоматом в одной руке, другой почтительно придерживая на весу толстый портфель из желтой кожи, вышагивает Витя Солнышко. Рожа, что полная луна в майский вечер, так и светится, на груди болтается новенький электрический фонарик — видать, только что снял с офицера, нацепил на себя. Рожа сияет, а грудь — колесом, словно украшена не фонариком, а орденом. И этот солидный портфель — для министра, не ниже.

— Стой!.. Эй, проходимцы! Вам говорят!.. Хальт!

Немцы остановились перед нами. Тот, что нес нашу упаковку питания, смотрел по-прежнему в землю, второй со страхом уставился в заросший черной щетиной подбородок капитана.

Витя, перекинув через плечо автомат, козырнул свободной от портфеля рукой:

— Товарищ гвардии капитан, разрешите доложить!.. Вот эти по балочке умотаться на машине хотели... Задержал, словом.

— Где? По какой балочке?

— Да тут, за станцией. Без дороги чешут, сволочуги. Я очередь дал, стекло разбил, шофер носом клюнул... А вот эти сидят, как сурки, глаза таращат, пистолеты держат, а не стреляют... Ну, я им пригрозил: «Вылезай, буржуазия!»

— Молодец!

— Да вот, чтоб не забыть, в машине ящичек остался. Хотел я их заставить тащить, да раздумал: не справятся. Невелик вроде, а тяжеленек. Железный.

— Сейф! Несгораемый?

— Кто его знает, может, и сгораемый. И вот это... Вдруг пригодится.— Витя протянул портфель.

— Вот что, друг! Гони их с ходу в штаб полка вместе с портфелем. А ящичек, сообщи, мы сейчас приберем.

Солнышко вытянулся и козырнул:

— Товарищ гвардии капитан! Нельзя мне отлучаться от рации. Пошлите кого другого.

— От рации?.. А-а, это ты?..— Капитан вгляделся в улыбающуюся физиономию Солнышка. Тот улыбался, как и всем: «Ты не тушуйся. Сам видишь, я прост...» Капитан перевел взгляд на пленных, махнул рукой:

— Черт с тобой!.. Эй! Тищенко! Васильев! Доставить в штаб полка. Да чтоб вежливенько, чтоб волосок не упал!..— Бросил Солнышку: — Отдай им портфель... Везучий ты, парень.

— Так точно, повезло! — бодро ответил Витя.

— А что это за ящик? — бросил капитан.

— А это наше... Ну-ка, друг, освобождайся. Быстро!

Быстро! Ну, вот и все. Бывай покуда, вряд ли встретимся.

За спинами немецких офицеров встали два пехотинца, подтолкнули легонечко:

— Шнель, ребятки.

Витя бережно положил к моим ногам упаковку питания.

В портфеле, который Солнышко торжественно доставил, оказались бутерброды и бутылка пива, а в железном ящнке — документы. Седой офицер, возвративший мне в целости и сохранности упаковку питания, оказался полковником.

К Вите Солнышку прискакал адъютант:

— Ты оружие у этих отобрал. Где оно?

— А зачем им оружие? Отвоевались.

— Не рассуждать! Личное оружие им оставляют.

— Пистолеты если?.. Так они их побросали. Поди подбери. И какое это оружие, сам посуди...

Адъютант уехал ни с чем.

А Солнышко врал: он прибрал пистолеты немецких штабистов, они лежали у нас в карманах. Мне Витя подарил крошечный бельгийский браунинг полковника, чтоб лишка не гневался.

Солнышко не наказали, но и благодарности не объявили, обещанный орден тоже придержали. Он по-прежнему оставался радистом в моем подчинении. Я удесятерил за ним надзор.

В учебе он преуспел: помимо «двойки» и «семерки», стал отличать на слух еще две цифры — «четверку» и «тройку». Первая звучала как «Горе не беда», вторая — «Идут радисты...»

ПИСЬМО, ЗАПОЗДАВШЕЕ НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Это произошло летом 1943 года. Имена и фамилии здесь подлинные.

И на фронте случалось отдыхать.

Мы стояли по Донцу во втором эшелоне. Редкие снаряды из самых дальнобойных немецких орудий долетали до наших окопов, да и те, нущенные на авось, не приносили большого вреда. Не рвутся мины, не свистят пули, связные не ползают на брюхе из роты в роту. Телефонисты всюду

протянули двойную линию, где нужно — окопали кабель, где нужно — закрепили: ничто не зацепит, ничто не порвет, связь, как в столице,— снимай трубку, говори с кем хочешь. Радисты снова сколотили зуммерный стол, тренировались. Витя Солнышко, если не удавалось улизнуть, дремал на тренировках, проверяя на практике старый солдатский афоризм: «Солдат спит, а служба идет».

Иногда мы ходили купаться на Донец, иногда заглядывали в наполовину уцелевшую прифронтовую деревеньку, где еще оставалось несколько семейств, в том числе одно — мать и дочь. Мать выглядела старухой, дочери было лет шестнадцать — бледная от недоедания, умеренно миловидная, с застенчиво пугливыми глазами. Звали ее Настенькой. На эту-то Настеньку мы и ходили любоваться, просто так, без какой-либо задней мысли.

Чаще нас наведывался лейтенант Оганян. Приходил, садился, молчал, досиня выбритый, насупленный, из-под густых и жестких бровей глядят в сторону загадочно темные, маслянистые глаза. Настенька при нем обмирала от страха. Где ей было знать, что лейтенант Оганян — безобиднейший человек на свете.

Изредка офицерам к солдатскому котелку щей выдавали доппаек — какую-нибудь банку рыбных консервов и пачку печенья. Лейтенант Оганян никогда не съедал его один, нес к нам, а уж мы-то без угрызения совести помогали ему расправиться, даже забывали сказать «спасибо». Лейтенант Оганян поставил себе за правило всеми силами оберегать своих подчиненных. Мы не рыли штабных землянок, только изредка, в крайней нужде, помогали запарившимся телефонистам наводить связь, всякий проштрафившийся был уверен, что наш взводный станет защищать его с пеной на губах перед начальником связи. Да и учебой нас не обременял. Зуммерный стол был скорее щитом, ог-

раждавшим от попреков: мол, радисты бездельничают в обороне. А мы-таки бездельничали, всласть отсыпались, телефонисты и связные ПСД звали землянку радиовзвода — «Сочи».

Лейтенант Оганян не осмелился признаться Настеньке, зато признался мне:

— Хар-рошая девушка...— Вздох, мечтательно-грустный взгляд.— Вот кончится война, останусь жив...— Снова вздох.— Честное слово, женюсь... Не веришь?

Если б я был постарше и поумней, то, наверное бы, сообразил и не рассмеялся. Но мне лишь недавно исполнилось девятнадцать лет, я из кожи лез, чтоб выглядеть тертым калачом, не шутите — знаю изнанку.

И я рассмеялся:

— Завтра уйдем, послезавтра забудешь. Сколько еще таких хороших встретишь.

Я не подозревал, что плюнул в душу лейтенанту Оганяну. Он взорвался:

— Мал-чишка! Испорченный человек!

— Ну вот, и обиделся...

— Мол-чать! Как разговариваешь?.. Я кто? Лейтенант? Ты кто? Младший сержант!.. Ка-ак разговариваешь?!

Ну, это было слишком. Разговаривали-то всего-навсего о Настеньке — что ж, я должен вытянуться в струнку, как в тылу на параде, взять под козырек: «Так точно! Хорошая, глаз не отвести! Непременно женитесь, товарищ гвардии лейтенант!»

И мы шумно поспорили. Через полчаса помирились.

Но на следующий день меня вызвал начальник связи полка. Он вообще не любил радистов, а меня особенно: без особого на то повода звал «философом» — более презрительной клички для него не существовало.

Начальник связи сидел на нарах без сапог, китель с капитанскими погонами накинут поверх нижней рубахи, шлепает картами, которые он на днях отобрал у нас.

В стороне сидит смущенный и надутый Оганян. Неужели донес? Такого еще не случалось. Вряд ли...

Начальник связи поднял на меня по-начальнически беспощадный взгляд:

— В-вы!.. Вы кто так-кой?..

Называет меня на «вы» — значит, табак, попал не в добрую минуту.

— В-вы кто такой, спрашиваю?.. Мол-чать!.. Ка-ак стоите? Где выправочка?

Я рад бы встать по всем правилам устава навытяжку, но землянка низкая, упираюсь пилоткой в бревенчатый накат.

— В-вы с кем пререкались? Кто он вам?! Может, он ваш подчиненный? Может, в-вы завтра мной захотите командовать? Может, мне сейчас вскочить и встать по стойке «смирно»?.. Мол-чать!

Молчу. Кошусь на оскорбленно надутое лицо Оганяна и гадаю: он или не он? Похоже, до меня начальник связи песочил самого Оганяна.

— Распустили вас! Интел-лигенция! Жирком заросли, от сна опухли! Ф-философствуете!..

И мне вдруг стало весело: «Чеши, чеши себе на здоровье. Брань на вороте не висит... А что ты со мной сделаешь? Ну-ка... Не расстреляешь, выкуси, вина не та. В стрелковую роту пошлешь — нашел чем испугать».

И, наверно, начальник связи по моему лицу понял: как ни кипятись — не проймешь. Он в сердцах гаркнул:

— Десять суток строгого ареста!

Мы с Оганяном переглянулись: «На фронте — и арест! Ну, брат, оторвал».

— Лейтенант Оганян! Обеспечьте!

Хорошо сказать: «Обеспечьте!»

Случалось рыть разные землянки в обороне, но чтобы была при штабе полка когда-нибудь вырыта землянка гауптвахты — не приходилось видеть ни мне, ни Оганяну. «Обеспечьте...»

У Оганяна был сумрачно-сконфуженный вид.

— Куда я тебя обеспечу?

— Это уж не моя забота,— ответил я, демонстративно снимая пояс, протягивая своему озадаченному начальнику.

— Испорченный человек... Что из тебя вырастет?..

— Не имею понятия.

— Надо было заварить кашу...— Он мял мой ремень, не зная, в какую сторону направиться.

— Я не виноват, что дошло до начальства,— съехидничал я.

— А я виноват?.. Думаешь, я донес? А?— возмутился Оганян, возмутился искренне.

Но приказ есть приказ — нужно выполнять.

Оганян, страдая оттого, что ведет без пояса под арест своего подчиненного под взглядами разведчиков, телефонистов, часовых из комендантского взвода, вяло шагал впереди меня для того, чтобы не подумали — конвоирует, и просто из принципа «глаза бы мои на тебя не глядели».

Армейская истина гласит: ничего нет невыполнимого. Нашлось место и для «губы».

В то время когда мы только что располагались в обороне, связные НСД на скорую руку выкопали себе крошечную землянку — сойдет, не простоим долго. Но время шло, мы не снимались с насиженного и уж вовсе не такого пло-

хого места. Связным надоело спать по очереди: они отгрохали обширную жилплощадь с просторными нарами, с двойными накатами. Старую землянку бросили.

Она и спасла Оганяна. Не случись ее, ему пришлось бы уступить мне свою собственную персональную землянку, а самому спать на моем месте, на общих нарах.

— Сиди,— сказал он.— Сейчас часового пришлю.

И ушел, забыв забрать мой ремень.

Часовым оказался не кто иной, как Витя Солнышко. Он принес с собой чью-то винтовку и явно недоброжелательное отношение ко мне.

— Ребята купаться собрались,— сообщил он.

— Не выйдет. Сторожи-ка меня, не то сбегу.

— Да беги, с плеч долой. Купаться бы пошел. Пододвинься, что ли?..

Я пододвинулся, мой часовой поставил мне в ноги винтовку, улегся рядом.

Все нары этой землянки были засыпаны письмами. Мы лежали прямо на них.

ПСД — пункт сбора донесений. Отсюда легкие на ногу связные бегают по подразделениям, приносят сведения. Если мы, радисты,— более современная связь по сравнению с телефонистами, то связные ПСД, должно быть, ведут свою родословную от того греческого парня, который принес из-под Марафона в Афины лавровую ветку.

Но ПСД в полку заменяет еще и почтовую контору. Сюда доставляются письма, те же связные их разносят. Здесь, в бывшей землянке ПСД, остались лежать какие-то письма, и лежат уже больше недели.

Я взял письмо, поперек адреса жирно выведено: «Выбыл». Другое — «выбыл», третье, четвертое... Кто-то убит, кто-то ранен, наверно, есть и просто откомандированные —

на всех одно и то же слово: «Выбыл», не сказано лишь куда — в другую часть, в госпиталь или на тот свет.

Знаю, непорядочно читать чужие письма. Знал это и тогда.

Найди мы случайно оброненное письмо, в голову бы не пришло вскрыть, полюбопытствовать, наверняка постарались бы доставить тому, кому адресовано. Но тут письма — бывшие, ничьи. И еще, наверно, человек под арестом позволяет себе больше, потому что считает себя вне закона.

Открытки, секретки, конверты, склеенные мякишем, просто свернутые треугольником письма. Корявые, дрожащие буквы, должно быть выведенные старушечьей рукой, на бумагу, поди, упала не одна слеза — мать пишет сыну, а сын-то «выбыл»... Или крупный, солидно неуклюжий почерк, буква громоздится на букву: «Папа! Я учусь в пятом классе, помогаю маме...» Папа тоже «выбыл»...

Мы привыкли к тому, что постоянно кто-то «выбывает», и не безликие адресаты, о которых знаешь лишь ничего не говорящую фамилию и имя, а товарищи.

Нам вдвоем было всего тридцать девять лет. При любой возможности мы отворачивались от всего, что нам напоминало смерть.

Мы без угрызений совести отбрасывали в сторону и письмо старушки матери, и письмо серьезного пятиклассника. Мы искали другие письма — от девушек,— чтобы приобщиться к тому, чего сами еще не испытывали — любовная тоска, разлука, счастливая дерзость от скрытого признания. Мы даже робко рассчитывали про себя не остаться сторонними наблюдателями, а объявить о себе. Пишут же «выбывшим», письмо наверняка останется без ответа, так что мешает нам ответить?

Мы искали письма от девушек.

Из многих писем мы отобрали только два. Прошло двадцать лет, а я почти дословно помню целые куски из них.

Кажется, из Свердловска она писала ему:

«Сейчас ночь. Я боюсь ночей. Днем — работа, и, что скрывать, нелегкая. Днем — люди, а ночью — ты. И вот тогда-то я начинаю чувствовать, что ты такое. Сказать, что с одной стороны — город, завод, цех, прохожие, знакомые, друзья, с другой — ты, ты — полмира! Нет, мало! Боюсь, что скоро станет легче дышать, меньше окажется работы, больше досуга и тогда — пустота, тогда никуда не спрячешься от тебя. В какое несчастное время мы узнали друг друга! Знакомые, друзья, город, весь мир, в котором я живу, не могут заменить тебя. Тебя нет, нет и жизни. А ты не отвечаешь мне уже на третье письмо! Я без тебя— бессмыслица, досадная случайность на свете. Ты можешь это понять? Ответь мне! Пиши, даже если некогда...»

Подпись была неразборчивой. Тот, кому адресовано письмо, знал ее имя, для нас оно оставалось тайной.

Но если бы мы и сумели разобрать имя, вряд ли решились отвечать. Тот для нее не полмира — весь мир, нам места нет. Слишком серьезный человек писал это письмо. *Слишком серьезный, а возможно, и слишком взрослый,* он отпугивал нас.

А второе письмо-секреточка унизано ровными чистенькими строчками. На адресе, как и полагается, наш номер полевой почты, адресовано некоему Евгению Полежаеву.

«Твоя фотография стоит на моем походном столике, ты на ней слишком строгий. Ты следишь за мной. И твой

взгляд заставляет меня вглядываться в самое себя. Как хочу быть чистой, умной, красивой перед тобой. Как хочу быть достойной тебя!..»

Тут уж не мир, не полмира, тут намного проще — люблю, хочу быть достойной. И нет угнетающей серьезности, и где-то между чистенькими строчками проглядывает девичья игривость, и подпись ясная и отчетливая, само имя простенькое, наивное, лубочное — Любовь Дуняшева.

Я и Витя Солнышко переглянулись: «Ответим?» — «Ответим!»

— Беги в землянку, принеси мою полевую сумку,— приказал я часовому.

И он сорвался, оставив мне на сохранение свою винтовку.

•

В полевой сумке, захваченной мной еще под Сталинградом из покинутой немцами землянки, хранились дневник, письма матери и целая коллекция автоматических ручек. Мне несли их даже незнакомые солдаты, спрашивали:

— Где здесь чудак, который ручки на махорку меняет?

— Я.

— Бери.

У меня были ручки со стеклянными витыми перьями, с золотыми перьями, была ручка, инкрустированная серебром,— не писала,— была, наконец, большая черная ручка, куда входило чуть ли не полпузырька чернил.

Этой-то внушающей уважение ручкой я и вооружился.

Витя Солнышко встал за моей спиной, приглушенным голосом давал советы:

— За середку колупни, жалостливее, со слезой...

И я начал:

«Дорогая и незнакомая нам Любовь Дуняшева!

К нам случайно попало Ваше письмо...»

Разумеется, при каких обстоятельствах оно попало, я скромно умолчал.

— Со слезой, чтоб прошибло...

— Да иди ты к такой матери! Не мешай...

«Поверьте, что мы от всей души сочувствуем Вам. Мы искренне тронуты Вашим большим и чистым чувством к незнакомому нам человеку. Мы еще не знаем, где находится Евгений Полежаев, но верьте — найдем его след. Найдем и все сообщим Вам. Мужайтесь! Рассчитывайте на лучшее...»

Витя Солнышко сопел за моим плечом.

Под конец я свернул с основной темы и разогнался:

«Ваш обратный адрес — полевая почта. Мы поняли, что Вы разделяете нашу судьбу, служите в рядах нашей доблестной армии. И нам представляется Ваш Высокий Образ — или сестры, ползущей с сумкой к стонущим раненым, или ассистентки, подающей седому хирургу инструменты во время операции, или терпеливой, доброй сиделки у кровати больного...»

Помню, я никак не мог вырвать нашу новую знакомую за границы медицинского обслуживания.

Витя просил — «со слезой», я же работал по принципу: лесть душу вынимает, оно верней, не дает осечки.

Мы заклеили письмо, написали адрес, мой часовой

сразу же сорвался с места, бросился в новую землянку ПСД, вручил с соответствующим наставлением:

— Не затеряйте, черти.

Десять суток строгого ареста...

По Дисциплинарному уставу мне полагалось днем не спать, через день получать горячее питание, остальное время сидеть на черством хлебе и водице, размышляя о своем поступке.

Я спал в компании своего часового сколько влезет, и днем и ночью. Как только приходило время обеда или ужина, Витя Солнышко хватал котелки и бежал на кухню. Повару, заносящему черпак, он говорил значительно:

— Арестованному.

Арестованный, потерпевший — как не пожалеть бедолагу! — и повар наваливал в наши котелки погуще и побольше.

Нас не тащили к зуммерному столу, не заставляли учиться, не посылали в караульный наряд, предоставили распоряжаться временем полностью по своему усмотрению.

Надоедало торчать в землянке, и я надевал забытый Оганяном пояс, вместе со своим безотказным часовым шел к Донцу, купаться. Винтовка часового, разумеется, оставалась в углу на нарах, ждала нашего возвращения. При этом надо было лишь не попадаться на глаза начальнику связи, да и встречи с Оганяном тоже желательно избегать. Столкнись с Оганяном — мы понимали — поставим человека в неловкое положение: должен наказать, а не хочется.

Часового положено менять. И в первый же вечер пришел вооруженный радист из новеньких, на физиономии которого я уловил явное желание добросовестно выполнить

возложенную на него обязанность. Но Витя Солнышко прогнал его:

— Иди! Иди себе. Скажи, что я бессменно буду караулить.

Я не прочь был находиться под арестом все десять суток, если нужно — и больше. Витя Солнышко, не рассчитывая на смену, не прочь был охранять меня. Но...

Но пришел приказ менять оборону — из второго эшелона в первый.

И нас, двух лежебок, выгнали из обжитой, покойной арестантской землянки, бросили на помощь телефонистам снимать так хорошо проложенные и так верно служившие линии.

Пришлось после отдыха высунув язык бегать с тяжелыми катушками.

Прошло немало дней. Забылась история с моим арестом, забылось обжитое место во втором эшелоне. В новом овраге возник земляночный городок, ничуть не хуже всех остальных, покинутых нами.

Возродился даже неизменный зуммерный стол — верный признак, что противник нас особенно не беспокоит.

Витя Солнышко стал выдумывать себе болезни, пропадал в санроте — там появилась толстая, добрая сестра, которая сводила с ума не одного Витю.

У меня износились сапоги, и я отдал их ремонтировать рябому повозочному из комендантского обоза.

Шли будни...

Мне принесли письмо.

Я вертел треугольник со штемпелем: «Солдатское письмо — бесплатно», вглядывался в незнакомый почерк, гадал: от кого?

Я переписывался только с матерью. Нет, не от нее...

Случалось, девчонка кого-нибудь из наших ребят писала: «У меня есть хорошая подруга, она хочет переписываться с фронтовиком, дай адрес...» Давали мой, конечно, с рекомендацией без лишней скромности: «Геройский солдат, парень — что надо...» И приходило письмецо: «Ах, как я Вас уважаю за геройство...» Коробило от стыда и за нее, и за самого себя.

Подозревал — и сейчас такое. Раскрыл...

Нет, что-то не то...

«Спасибо, спасибо за доброе участие. Сегодня только узнала и спешу поделиться радостью: Евгений Полежаев жив! Он был легко ранен, лечился, теперь снова вернулся в свою часть. Его полевая почта такая же, как и Ваша, только литер другой — «Г». Разыщите его, расцелуйте его за меня. Не сомневаюсь, что Вы станете с ним друзьями... Попросите показать мою фотографию. На ней вы увидите девчонку, весьма хрупкую, тепличную. Но эта девчонка, уверяю Вас, много пережила. Да, да, очень много. Вы не поверите, когда увидите... (Я и на самом деле в это почему-то не особенно верил — кокетничает.) Вы пишете, что я представляюсь Вам медсестрой, но это не совсем так. Я ношу погоны с черной окантовкой и эмблемой перекрещенных молний. Словом, я — связистка.

Еще раз, встретьтесь с Женей и непременно расцелуйте его за меня.

Ваша Любовь Дуняшева».

Я бросился к Вите Солнышку:

— Читай! Ответ!

Витя прочел и умилился:

— Ишь ты, связистка... А, может, радистка?

— Может.

— Совсем родня.

— На седьмом киселе.

— Так что, пойдем знакомиться,— предложил он.— По литеру — этот Полежаев воюет во втором батальоне.

— Сейчас?

— А когда же?

— Нет.

— Почему?

— Сапоги...

Витя понял меня.

Мои сапоги в ремонте. А какой уважающий себя фронтовик пойдет на первое знакомство в обмотках? Может, Полежаев — офицер, нельзя ударить перед ним в грязь лицом. Обмотки? Нет! Зачем вводить порядочного человека в заблуждение: мол, эти ребятки лыком шиты.

И мы стали торопить рябого повозочного, ждали сапоги, перечитывали письмо Любы Дуняшевой. Рябой тянул...

Наконец сапоги получены. Но мне решительно не везло но мелочам: во-первых, рябой на головки наложил некрасивые, бьющие в нос заплаты, во-вторых, потерялась с пилотки звездочка. Чепуха, но без звездочки моя старая, выгоревшая пилотка вовсе утратила вид. Как ни разглаживай ее, как ни сандаль ладонью, все равно походит на дурацкий колпак. Представлялось — вскину ладонь к этому колпаку: «Здравия желаю! Разрешите познакомиться...» Каково впечатление?

И все-таки мы начистили сапоги до блеска, поставили у земляных нар, легли спать. Решено: идем в гости к Евгению Полежаеву.

А в пять утра раздался крик:

— Подъ-ем!!

Наши роты двинулись в наступление.

Мы торопливо натянули начищенные сапоги.

Во второй батальон, но не в гости.

Комбат-два Гречуха со своими ротами перебрался через речку Разумную. Сгибаясь под упаковками радиостанции, мы спешили к нему.

Про Разумную солдаты говорили: «Переплюнуть можно, а перейти нельзя». Наш берег — плоский, болотистый, немецкий — высокий, обрывистый, с известковыми сбросами. Наши позиции — как на ладони, немцы укрыты гребнем обрыва, сидят в добротных окопах.

По заболоченному лугу прокопаны траншеи с черноземными брустверами. Они до половины залиты темной, закисшей водой. Мы сначала усердно маршировали по травке вдоль траншей. Конечно, и мины шлепают, и пули свистят, но сапоги-то начищены, охота ли лезть в воду?

Но где-то впереди в синем воздухе родился легкий, как дыхание, звук. Секунда — и он превратился в давящий вой. Взрыв! Черная земля вскинулась на дыбы.

Мы пригнулись, поднажали...

Новый вой. Черная грязь на миг закрыла даже солнце. Лупят по нас тяжелыми... Тут уж не до форсу, спрыгнули начищенными сапогами в залитые траншеи, побежали, почти касаясь подбородками воды.

А взрывы сзади, взрывы спереди, комья земли шлепают по голове, спине, коробкам рации.

Воет новый снаряд, захлебнулся. На мгновение — тишина, словно ты оглох. Падай! Рядом! Вжался лицом во влажный бруствер.

Похоже, мягким и тяжелым мешом стукнуло по голове, снова затянуло землей солнце, угарно запахло химией.

— Жив, Витька? — Собственный голос чужой, издалека.

— Жив. Топаем дальше.

Подымаясь, на бруствере вижу винтовочную гильзу и звездочку, сияющую рубиновой эмалью, как раз для моей пилотки. Хватаю звездочку в кулак — находка! Бегу, шлепая по воде, чуть не достающей до колен.

Траншея вела к переправе.

А переправа пристреляна. Каждые пять минут, не чаще и не реже, взмывают рядом с ней столбы грязи, опадают, седой дым цепляется за жидкие кусты.

Речка черная, стоячая, ручей — не речка, на самом деле переплюнуть можно. Через нее перекинуты наспех слеги, забросаны хворостом. Хворост в засохшей грязи, и на нем — трупы... И только ли трупы?..

— Милые! Родные! Помогите, голубчики!.. Так вашу мать! Помо-о-оги-ите!

Кричат раненые.

Они рядом, мы видим их, они нас — нет. Уже много часов раздаются их голоса в воздухе, только сейчас начавшем наливаться зноем. Умоляют, проклинают, зовут, грозят.

— Родненькие! Сволочи!.. Братцы!.. Помогите же, гады!..

И стоны...

Один ползет в нашу сторону. Я даже вижу его лицо — темное, как старая медь, раскрытый рот, хватается непослушными руками, старается приподняться, руки подламываются.

Я отворачиваюсь, но от криков не отвернешься...

Их много, нас двое, переправа пристреляна. Только сунься — и останешься лежать там. Нам отдан приказ: прибыть с радиостанцией на тот берег как можно скорее, связи нет. Нам отдан приказ...

— Товарищи! Братцы! Гады!..

Витя Солнышко глядит на меня, на его размякшей, непривычно растерянной физиономии вопрос: «Что?.. Приказывай!»

Тут-то он вспомнил, черт возьми, что я старший.

— Ищем брод, Витька...

Сам прячу глаза. Неподалеку падает снаряд, нас осыпает землей.

Ползем, таща на спине радиостанции. Ползем рядом с водой. Разумная — переплюнуть можно, перейти нельзя... Крики раненых стоят в ушах.

Несколько шагов до того берега. Темная вода, она везде одинакова. Где брод?..

— Снимай упаковку! В руки!

Лезу в воду первым.

Воды по пояс. Держу на плече приемопередатчик.

Несколько шагов, одна секунда — и мы на другой стороне. Даже по грудь не было. Где-то в дальнем уголке мозга — удивление: почему до нас все лезли на мостик?.. Так легко перебраться даже не умеющему плавать. Почему?.. Не кричали бы теперь там...

Мы под высоким берегом, он прикрывает. Ни один снаряд сюда не залетит, ни снаряд, ни пуля, ни даже круто падающая мина. Какая это великая свобода — распрямиться во весь рост!

Я оглядываюсь назад. Проклятый плоский берег, много же полегло на нем наших людей. А где-то стонут раненые, их стоны не доносятся сюда.

Что-то врезалось в руку. Разжимаю кулак, на ладони — звездочка. Роняю ее на землю. Мне сейчас наплевать, как будет выглядеть моя пилотка.

Мы захватили деревеньку, стоявшую на самом гребне высокого берега. Стоявшую... Теперь деревеньки нет, скуч-

ными наростами среди черных головешек торчат печки, не уцелело даже ни одной трубы.

Зато уцелели все погреба. Здесь они выкапываются не под домом, как в наших местах, а отдельно во дворе. Почти все цементированы, крутые лесенки ведут вниз. В таком-то погребе мы и устроились с радиостанцией. Как в блиндаже — выдержит прямое попадание.

Однако снаряды уже не летят и мины не рвутся. Далеко-далеко суетливая перестрелка. Немец сбит, откатывается.

Витя Солнышко уже навострил лыжи:

— Пойду прогуляюсь, младший сержант.

— Сиди. Сам хочу прогуляться. В пять ноль-ноль свяжешься со штабом полка.

Я приноровился: как только у Солнышка появляется зуд в ногах, спешу оставить его одного. Радиостанция на его полной ответственности, попробуй только бросить ее. И уж тогда-то он терпеливо ждет, пока я брожу поблизости.

На земле под ногами вызванивают стреляные гильзы. Вонючий дымок тянется от пепелищ. Я направился к окраине деревни, к обрыву, чтоб с высоты взглянуть на тот берег, с которого мы пришли.

Посреди улицы, какой-то плоской и слишком широкой без домов, выкопана большая квадратная яма, должно быть, немцы готовили себе землянку и не успели ее накрыть.

На дне ямы убитый — наш, судя по суконной гимнастерке и синим диагоналевым галифе — офицер. Он лежит, раскинув руки, разметав ноги в солдатских кирзовых сапогах, рослый, статный, на груди набор орденов и медалей, курчавая голова откинута назад. Курчавая голова, а лица нет. Должно быть, осколок попал ему в затылок, вышел через лицо — из кровавого месива торчит белая кость.

Я чуть задержался и пошел дальше — мало ли убитых, еще один. Лица мертвых обычно не запоминаются, этот же запомнился мне тем, что у него нет лица.

Вот и окраина деревни, вот сбегающий вниз обрыв, морщинистый, источенный ручьями, что стекают весной к Разумной. А Разумная отсюда приветлива — берега опушены кустами, вдоль кустов вьются певучие тропиночки и воронено блестят укромные заводи, в таких неплохо клюют окуньки. За речкой — неистребимо зеленые, выглаженные луга, их дальняя окраина купается в голубом мутноватом мареве, глаз не осиливает толщу прозрачного воздуха. И на эту доверчиво распахнутую землю рядом со мной из окопов, выдолбленных в известковой кромке берега, уставились два пулемета с хищными стволами.

Доверчиво распахнутая земля под стволами. Бежали хозяева пулеметов, стволы молчат, но и в немоте их ощущается ожесточенная злоба.

Я повернул обратно.

Возле знакомой мне квадратной ямы стоит на насыпи солдат, смотрит на убитого кудрявого офицера, свободно разметавшегося на спине.

Солдат — тощий, нескладный парень с длинным, серым от пыли, пятнистым лицом. Он, как пастух на посох, опирается на винтовку, за спиной у него вещмешок с котелком, вид отрешенный, со стороны — ни дать ни взять иссушенный человеческими несчастьями библейский пророк.

Кто-то из знакомых забрал документы и вместе с ними — ордена, чтоб сдать в штаб.

Я заглянул под каску в грязное тихое лицо солдата. Длинное лицо не то чтобы печально, скорей терпеливо — парень привык к смерти, привык к крови, если и ужасает-

ся, то про себя, знает: кричи, взывай, негодуй — никого не удивишь, не тронешь, не поможешь.

— Знакомый? — спросил я, кивая на убитого.

Он помолчал, обронил скупо:

— Да.

— Кто это?

— Командир нашей пулеметной роты Полежаев.

— Евгений Полежаев!

Парень покосился на меня из-под каски и не полюбопытствовал, откуда я знаю Евгения Полежаева, командира пулеметной роты при втором батальоне.

Курчавая, закинутая назад голова, широкая грудь, раскинутые руки... Кто-то уже взял у него документы, а вместе с документами наверняка — письма Любы Дуняшевой, а с письмами — ее фотокарточку...

«Попросите показать мою фотографию. На ней Вы увидите девчонку весьма хрупкую, тепличную. Но эта девчонка, уверяю Вас, много пережила. Да, да, очень много...»

Я почему-то не верил, что она много пережила. Тот, кто действительно много пережил, так легко об этом не говорит...

У Любы Дуняшевой переживания впереди.

— Не ты забрал его документы?

— Нет.

— И ты в них не заглядывал?

Парень недружелюбно покосился на меня:

— А зачем? Я его не по документам знал.

Солнце опускалось, косая тень от отвесной стенки вкрадчиво подбиралась к убитому, собираясь стыдливо его накрыть. Он лежал лицом к синему безоблачному небу...

«Встретьтесь с Женей и непременно расцелуйте его за меня».

Расцелуйте? Осколок попал в затылок.

Я отвернулся и зашагал к себе. Шагал и глядел в сапоги, заляпанные глиной, в белых струпьях засохшей известки...

Солнышко сидел возле радиостанции, с налившимся кровью лицом орал в микрофон:

— Фриц! Не занимай волну! Ты, гад картавый! Убирайся к чертовой матери! Прием!

Обычная история: какая-то немецкая радиостанция случайно попала на нашу волну, мешала связаться с полком. Витя Солнышко считал: уж если он работает, то эфир — его монополия.

Всякие посторонние разговоры по радиостанции строжайше запрещены, а разговоры с противником — тем более. В другое время они могли бы кончиться печально: немецкие пеленгаторы засекут — ловп тогда снаряды. Раз радиостанция — значит штаб, а раз штаб — снарядов не жалеют.

Но сейчас немцы смяты; можно представить, какая у них там суматоха и путаница — не до пеленгирования.

Витя Солнышко, увидев меня, смутился, виновато заворчал:

— Колготят и колготят, слово не пропихнешь...— И вдруг без перехода просиял:— Пляши!

Я отвернулся, шагнул в угол.

— Пляши! Видишь?

Он показал мне открытку.

— Тебе пишет, не мне... «Вы вошли в число моих друзей...» На-ка вот, ты вошел, а я нет... Пляши, не то не отдам.

Я почему-то нисколько не удивился, что открытка от Любы Дуняшевой пришла в этот день, в этот час.

«Я немного приболела, лежу, пользуюсь свободным вре-

менем, чтоб поговорить со своими друзьями. А Вы вошли в число моих друзей. Почему Вы не ответили на мое письмо? Нехорошо забывать. Встретились ли Вы с Женей? Признаюсь Вам, до сих пор меня не оставляет светлая радость, что он жив, здоров и что у нас с ним есть общие знакомые».

Всего несколько фраз, много ли напишешь на обороте открытки.

Я тогда не ответил на ее письмо. Не смог.

Через несколько дней в селе Циркуны я потерял свою полевую сумку вместе с дневником, с письмами Любы Дуняшевой, с коллекцией трофейных авторучек.

А еще через несколько дней под Харьковом меня ранило.

Но номер полевой почты Любы Дуняшевой я помнил хорошо. В госпитале несколько раз принимался за письмо к ней. Начинал и каждый раз откладывал. Не так-то просто, оказывается, сообщить о беде...

«Встретились ли Вы с Женей?» Да, встретился...

«Расцелуйте его за меня...» Нет, этого я не сделал.

Не стал я и другом Евгения Полежаева...

Я трусливо молчал, наконец забыл номер полевой почты, знаю, что он начинался с цифры «18»...

Прошло ровно двадцать лет. Двадцать!

Адреса изменились, давно заросли старые раны. Спустя двадцать лет я решился наконец выполнить долг, написать письмо.

Любовь Дуняшева, дойдет ли оно до тебя?

КОСТРЫ НА СНЕГУ

Я необстрелянный мальчишка и наскоро испеченный в тыловой школе младших командиров радист, с маршевой ротой попал в штаб полка, занимавшего оборону. Полк был гвардейским, орденоносным, прославленным. Солдаты комендантского взвода, торчавшие у штабной землянки, с презрительным невниманием глядели поверх наших голов. И где-то на окраине степи, точно такой же, какую мы меряли целый день — красная глина и тусклая полынь,— вперепляс, весело трещали выстрелы, глухо рвались снаряды. Вот и фронт...

В стороне среди старожилов я заметил солдата. Издалека он показался низкого роста, но почему-то рядом с ним — другие солдаты, сонная с отвисшей губой лошаденка, запряженная в полевую кухню, сама кухня вместе с дымком, заманчиво пахнущим заваренной тушенкой,— все, все кругом казалось не настоящим, а каким-то игрушечным.

Я был голоден, ловил носом дымок от кухни, далекие выстрелы волновали меня, отвлекал рокочущий командирский басок из темного лаза в землянку, решавший нашу судьбу — каких новичков в какое подразделение послать. Я не заметил, как странный солдат исчез, лошадь, кухня, повар, люди приобрели устойчиво нормальный вид. И я забыл об этом солдате.

Но на следующий вечер с ним столкнулся.

В степь в пыльном, удушливом пламени садилось солнце. И в окружении закатного огня на меня двигалось что-то громоздкое, тяжелое и несуразное, словно вставшая на задние колеса двуконная повозка.

Он шел спокойной раскачкой, и я заметил устрашающую покатость пухлых плеч, выпирающую из натянутой гимнастерки бугристую грудь, расслабленные бицепсы неестественно раздували рукава, пошевеливали вылинявшую ткань. А лицо... Казалось, взгляд вязнул в скупых рубленых складках, мясистые скулы, черные бровищи прикрывали глаза — их хватило бы на усы комбату, комроты и на взводного бы осталось.

Он прошествовал мимо, не одарив взглядом, казалось, не заметил моего откровенного изумления.

Я оглянулся вслед, увидел необъятную спину, с лениво шевелящимися жерновами-лопатками и... И было еще кое-что, чему можно ужаснуться,— ноги в сапогах! Сапоги, должно быть, самого большого размера с просторнейшими

кирзовыми голенищами. И эти-то голенища не налезали на толстые, крутые икры. Они были распороты сзади.

И холмик землянки, замаскированный пучками вянущей полыни, и шест с антенной от полковой рации, даже сама степь с дымчатой кромкой горизонта казались игрушечными по сравнению с каменно-тяжелой, раскачивающейся фигурой.

Его звали Габдулла Япаров. Он был разведчиком из взвода пешей разведки.

Мы, новички, только на третий день стали замечать постоянно торчавшее возле него существо. Туго обтянутые обмотками тощие ноги колесом, пилотка, как расползшийся в печи пирог, не доставала до литого яиаровского плеча, сизый нос бабы-яги, из-под него вечно торчит чадящая самокрутка в палец толщиной, на сухощавом сморщенном лице, внушающее на первый взгляд опаску, выражение самоуверенной наглинки, светлые глаза колючи, быстры и сердито-насмешливы.

Это извечный дружок Япарова, тоже из взвода пешей разведки,— крикун, хвастун, несносный задира Рожков, по прозвищу Миляга. Его скрипучий голос постоянно можно было слышать у кухни:

— Ты как наливаешь? Ты что же думаешь — такого мерина я одним половничком накормлю? Вали гуще! Давай, давай, шевелись! Не то сам черпачок в руки возьму.

Япаров в это время полуразвалясь восседал возле своей землянки и предавался обычному для него занятию — величественно созерцал мир божий, в котором оказался он, так не походивший на все привычное, примелькавшееся, суетно-беспокойное.

Миляга подносил ему пару котелков, щедро налитых доверху, и предлагал:

— Жри, мерин.

Порой кричал:

— Прорва! Опять весь хлеб умял? Ты телеса нагуливаешь, а у меня должно брюхо к хребтине присыхать!..

Япаров величественно отмалчивался.

Говорили, что он из созерцательного спокойствия выходил только, когда напивался. Однажды его вязали двумя взводами — взвод пешей разведки и комендантский взвод. Первым на мечущуюся в бешенстве тушу бесстрашно набрасывался Миляга...

Для меня Япаров казался загадкой. Какое «я» спрятано под чудовищными мышцами, под большим, как артельный котел, черепом? Умеет ли этот человек страдать, как все, любить, как все? Порой мне казалось — он жив, но не живет, просто неодухотворенно существует.

Сталинград, лежащий от нас на восток, был в кольце. Полк занял оборону посреди степи, когда еще не выпал снег. Но вот снег прочно лег, шла неделя за неделей, мы вросли в промерзшую землю, обжились, ходили друг к другу в гости, как добрые деревенские шабры, рассуждали о маленьком хуторе Старые Рогачи, до которого во время наступления не дотянули каких-нибудь двух километров. Шли недели, мы грелись у железных печурок, а Старые Рогачи так и оставались у немцев.

У нас, полковых радистов, была вырыта крошечная землянка на три человека и на радиостанцию с упаковкой питания. А по вечерам в нее набивалось еще пять гостей, с охотой бы приняли и десяток, но больше не влезало, приходилось невежливо отказывать. Не появлялся у нас и Япа-

ров — слишком велик, всех бы выжил. Зато Миляга приходил, как на дежурство.

Вверху над жидким накатом, присыпанным землей, шумел ветер, наметал снег, а внутри — тесно, уютно и стоял такой ядреный плотский запах, что свеча на штыке, воткнутом в земляную стенку, норовила тихо уснуть.

Шлепали от безделья пухлыми картами — в «подкидного дурака», в «козла», в «пьяницу», слушали хвастовство Миляги. По его рассказам, все девки в мирное время сходили по нему с ума.

— А что? Я ведь парень ничего,— объявлялось не без святой наивности.

Этому «парню» было уже около сорока, нос висел у него, как у старого филина, но ни тени сомнения, ничем не разубедишь — неотразимый красавец.

Как-то заговорили о том, что немцы тоже обжились и обнаглели. Был слушок, в соседней части они сделали вылазку, забросали гранатами ротную землянку. Наши пытались достать «языка», посылали разведчиков, бросали роту боем, возвращались ни с чем.

И опять Миляга подал голос:

— Лезут нахрапом, я бы один достал, коль попросили...

— Начальство не догадывается тебе в ножки поклониться.

Милягу не смутишь, он быстро соглашается:

— То-то и оно. Я бы раз, два — и в дамках. Держи «языка».

— Ты же вместе с другими лазал?

— То вместе с другими. Возню под носом у немца разведут, что у тещи на именинах. Он и приложит — уноси ноги. Один-то — любо-мило, тишина...

— Слазай одиночкой, кто не пускает?

— Попроси меня, да поласковее. Доброе слово люблю.

— Трепаться ты любишь.

— Я?

— Нет, кобель Кабыздошка, что дома остался.

— Я — трепач? Вы слышали?

— Слышали, слышали, молчи лучше в тряпочку.

— Братцы! Что же это? Все считают меня трепачом?

— Все. А раньше-то не замечал?

У Миляги плаксиво блестели колючие глазки, гневно пунцовел кончик носа.

— Бьемся об заклад!..

— Ладно уж, не ершись.

— Бьемся об заклад, сукин сын! К утру «языка» приведу!

— Ты ведь и соврешь — не дорого возьмешь.

— Заклад! Все!! Испугались?

— Да что ты на заклад поставишь? Разве Япарова. Кроме этого быка племенного, у тебя за душой ничего нет.

— Вас здесь, окроме меня, семь лбов. На каждый лоб старшина утром наливает по сто грамм. Не жрите сразу, повремените, покуда не вернусь. Не приведу «языка» — возьмите мои сто грамм кровные.

— На всех семерых твои сто грамм? Маловато.

— Семь дней, будь я проклят, ежели не приведу, не понюхаю стопочки. А уж коль приведу — на-кося...

— Идет,— согласились мы дружно.— Приведешь — сольем во фляжку, с поклоном поднесем.

— Ну, ребята, гляди — уговор!

— Ты поглядывай.

— Кто потом откажется — потроха выпущу.

— Ну, ну, стращай...

— Тогда — все! Я пошел.

Миляга бочком полез к выходу.

— Не захмелей раньше времени...

— Ни пуха ни пера...

Он огрызнулся:

— Катитесь к чертовой матери!

И исчез за обындевелой плащ-палаткой, прикрывавшей выход.

Мы посмеялись над ним и разошлись — время было позднее.

Утром, еще затемно, мне пришлось бежать в штаб дивизии, менять разряженный аккумулятор. Три километра туда, три обратно — возвращался часам к десяти.

На пути встретился старший сержант Пучков из телефонистов, парень раздражительный и злой на язык, мастер играть на аккордеоне. Он вчера больше других нападал на Милягу.

— Слышь! — остановил он меня. — Миляга-то...

— Что? Не вернулся?

— Да нет, привел.

— Ну-у!

И я бросился к штабной землянке.

Тесной стенкой стояли любопытные. У входа в землянку на снегу сидел немец с синим, осунувшимся мальчишеским лицом, в суконной пилотке, завернутой на уши, очень маленький и очень тощий — надо же откопать такого, как раз под силу Миляге. Пленный ловил преданно округлившимися глазами взгляды солдат и с гримасой страха улыбался: «Не убивайте». Тонкие грязные пальцы сжимали острые колени, плечи поеживались от страха и холода под слишком просторным, не по росту кителем. Вылез, наверно, по малой нужде из землянки без шинели, обратно Миляга-не пустил.

А Миляга расхаживал рядом — под носом на спесиво выпяченной губе чадит толстая цигарка, за спину переброшен автомат, с важностью выворачивает валенками на кривых ногах. Нет-нет да и поводит небрежным взглядом на «крестника», тот сжимается, грязные пальцы костенеют на острых коленях, в широко распахнутых светлых глазах всплескивает ужас. Чем Миляга запугал этого суслика? Вот уж воистину — страшнее кошки зверя нет.

Появился Япаров, постоял, полюбовался на «языка» поверх солдатских шапок, повернулся, пошел прочь враскачку.

Кто-то бросил ему в спину:

— Что, брат, мал золотник, да дорог.

Кто-то добавил:

— Велика Федура, да дура.

Янаров не обернулся, лишь с размаху пнул подвернувшуюся под ноги ржавую коробку от немецкого противогаза.

И никто, кроме меня, не заметил этого, а я глядел в спину Япарова и удивлялся. До сих пор он для меня — скала, а не человек, и вот выдал себя... Не такая уж скала, может сердиться, обижаться, завидовать, как все люди. Со слабостями он был мне милей. Захотелось посидеть с ним, переброситься о доме — был же у него в мирное время дом; о жене — верно, ждет его где-то; о детях — вдруг да носил их на руках, уаукался...

Я двинулся к землянке разведвзвода.

Япаров, как обычно, сидел, свесив валенки в проход, затянутый в полушубок, в надвинутой на брови шапке. Я приблизился, он взглянул, как умел глядеть только Янаров,— на меня и в то же время мимо, словно перед ним стоял не человек, а дерево.

И я не подсел рядом, не заговорил с ним.

Милюга получил от старшины все наши семь раз по сто. Вместе со своей порцией набралась вместительная восьмисотграммовая фляжка. Ни с кем не поделился, даже с Япаровым,— за котелком сечки осушил до капли. А потом в своей землянке на нарах жестоко страдал. Япаров сидел рядом и чистил свой автомат.

Вечером он отозвал своего командира взвода лейтенанта Гришина:

— Разговор есть...

Ночью исчез, а утром принес в охапке и положил перед штабной землянкой сверток из серо-голубой шинели. Из свертка торчала пара высоких начищенных сапог. Япаров легонечко пнул сверток, тот зашевелился, показался обтянутый сукном зад, и на белый свет явился поджарый, уже немолодой немецкий офицер — на мятом френче болтался пристегнутый к пуговице электрический фонарик. Офицер пьяно оглянулся, осел снова на шинель, закрыл лицо руками, и плечи его в узких погонах и локти затряслись. На безымянном пальце блестело обручальное кольцо. Япаров бережно взял его за шиворот.

Старшина комендантского взвода испытал на себе всю силу красноречия Япарова. Тот загородил ему дорогу и потребовал:

— Ну!..

— Что — ну?— поинтересовался старшина.

— Награда.

— Какая награда?

— А как же?

— Не тот адрес вроде. Я тебе не наградный отдел. В штабе справься.

— За офицера больше полагается...

— Чего, дитятко? Никак не пойму,— подмигнул слушателям старшина.

— Ну, того...

— Толком объясни, чего хочешь?

— Ну, этого...

— Э-э, ясно. У меня не распивочная. Твоего Милягу добровольцы из своих потчевали за геройство.

— Ну, а мне?

— Поищи, может, кто поднесет.

Упрямо склоненная физиономия, брови, насупленные в пол. Старшине было невдомек, что дело не в водке — уважь по заслугам.

Никто не уважил. Не поднесли Япарову и мы — уговору не было.

Миляга же выпил все один, потом страдал жестоко на нарах, несколько дней ходил желтый и хмурый, без геройской выправки.

Наступление остановила ночь. В наступлении нет времени копать землянки — нынче здесь, завтра там, а ночь январская.

И тогда-то случилось невероятное — по всей степи вспыхнули костры. Костры на передовой линии!

А обычно цигарку прятали в рукав, «катюша» — кресало с фитилем — высекалось под плащ-палаткой, на мимолетный блеск карманного фонарика, вовремя не спрятанного под полу, от батарей противника летели снаряды, разворачивали всю землю в округе.

Земля на фронте по ночам лежит затаившись, прячется во мрак, только по предательскому небу гуляют осветительные ракеты и шьют строчки трасирующие пули. Сейчас же земля украсилась кострами, а небо темно. Костры из конца в конец, костры наглые, вызывающие, и казалось, что двадцатый век с его минометными и дальнобойными пушками, танками и самолетами, наблюдателями на командных пунктах, припавшими к окулярам стереотруб,— исчез, верну-

лось разгульное древнее воинство, половецкие станы рассыпались по земле.

Горят костры, сыплют в черное небо искры. Горят костры во всю ширь степи, во всю ширь, но не в глубь. Граница костров — граница отвоеванной земли, за ней — темно, тихо, пугливо, ни один миномет не осмеливается послать мину на огни. Подвальная тишина с той стороны.

Завтра — за ту сторону, а там — Ворапоновка, а там — рукой подать Сталинград. И шевелятся у костров тени, и пунцовеет развороченный гусеницами танков снег. Переждать бы ночь. Соснуть — не мечтай. Физиономию и протянутые к огню руки стягивает от жара, а спину и зад продирает холодом.

У нашего костра поругались Миляга и Япаров. Они недавно пришли с вылазки. Их взвод напоролся на зенитную установку, и с нее прочесали счетверенным крупнокалиберным пулеметом, из которого бьют только по самолетам. Трое остались, двоих выволокли. Крошевом мерзлой земли, взрытой крупнокалиберной пулей, разворотило скулу Миляге. И он зол, отводит злость на Япарове.

— И все из-за тебя опять! Эдакая изба ползет. Только слепой не возьмет на мушку...

Япаров молчит, посапывает над костром, а его молчания Миляга не выносит.

— Такому бугаю не разведчиком быть. В артиллерию тебя наместо трактора! Мигаешь теперь? Мигай, мигай! Ребята-то на твоей совести, колокольня...

— Ну, уж...

— Не нукай. Как ни свяжешься с тобой, так всегда влипнешь. Не первый раз! Помнишь, к немцам тепленькие в гости попали? Из-за кого? Все из-за тебя, баржа! Опять, может, на меня свалишь?

— Так ты ж первый тогда голос подал...

— Я-а? Голос! Братцы! Вы слышали? Я?!

Мы слышали, и не раз. Это старая история, случившаяся еще в первый год войны. Мне ее поведали сразу же, как только я обжился в полку. Впрочем, во всем ли правдива эта история — не поручусь. Свидетелями ее только двое — Миляга и Япаров. Рассказывает ее обычно Миляга, а если справляются у Янарова, он кратко отвечает:

— Брешет!..

Их двоих послали прощупать местность. Кто из них виноват, что под утро влезли в гущу отдыхающих немцев,— валят друг на друга. Но влезли и опомнились тогда, когда поднялся гвалт, со всех сторон обступили, десятки автоматов уткнулись и спереди и сзади. Даже Япаров не решился брыкаться.

На зорьке, по только что выпавшей росе повели их в ближайшее село под охраной целого взвода. Япарову на всякий случай спутали за спиной руки, походя щупали его, дивились, как невиданному зверю.

Должно быть, офицер, к которому доставили необычную пару, не лишен был сметливости. Он распорядился посадить их не вместе, а врозь.

Япарова отвели в стоящий на отшибе сараюшко, без окон, с крепкими стенами, не камышовой, а тесовой крышей. На дворе повесили замок, поставили часового.

Милягу уже сунули в кладовку при хате. Дощатая дверь кладовки закрывалась на обычный завертыш. Но не выскочишь. Дверь открывалась в узкие сенцы, у крыльца — часовой, напротив постоянно распахнутая другая дверь — в комнату, где поселились солдаты.

Миляга притворился тихим и придурковатым, сидел в своем закутке, как мышь, а среди бела дня ушел.

В село привели партию наших пленных. Солдаты-постояльцы из хаты высыпали поглазеть, столпились в дверях, закрыли спинами часового. Миляга щепкой открыл завертыш, осторожно прошел за спинами солдат в их комнату.

Ему приходится верить на слово, а он рассказывал...

«Вошел к ним я, братцы, вижу — стол. А на столе, мать чесна! Видать, жрали, да не кончили. И разный шнапс стоит, одна бутылка другой чудней, яичница на сковороде, мясо в блюде, от духа брюхо наизнанку выворачивается. Я одну бутылку — хвать, другую — хвать, со стены автомат сгреб да в окно прыг...

Не-ет, шалишь, далеко не побегу. Среди бела дня по селу не попрыгаешь.

Под окном, значит, тыква-брюква растет, от улочки кустики закрывают, крыница стоит с воротом, над крыницей бадейка висит.

Я бадейку-то не тронул, пусть висит, чтоб не навести на след, а сам в сруб — по стеночкам, пятками стараюсь в бревнышки упереться. Оно сказать просто — крыница-то глубока, а у меня и руки заняты, бутылки под рубахой прижимаю, да еще и автомат болтается. Сорвался и загремел со всем добром. Башкой треснулся, а там не помню. В воде очухался. Пощупал башку — вроде цела. Да что башка — бутылки целы. Вот как ловко упал. Только вода шибко холодна, аж давит в печенки. Значит, раскупорил я бутылочку, приложился, похоже теплей стало. Посижу, посижу да приложусь.

Сруб, видать, старый, стены склизкие, трухлявые, а вверху света с пятак и донышко бадейки в синем небе болтается. Как в трубе, право слово. И ничего не слышно — любопытно, хватились там наверху меня иль нет? На всякий случай в уголок жмусь, лезу в воду поглубже. Ее

по пояс, может, меньше, унырнуть при нужде можно, но уж больно сволочная вода — из земли, могильная.

Вижу, бадейка дернулась наверху, я присел — ноздри да глаза наружу. Харя повисла сволочная. Гляжу, не дышу, а сам автомат торчком ставлю — сунется, уж в компании сдохнем. А ему-то наверху солнце, должно, в рожу лупит, где там разглядеть мою макушку в черной дыре. Пободался, пободался с бадейкой, просовывает свой автомат, очередь дал, а пули в сруб, как в тесто, только гнилушки посыпались. Ничего, пронесло... Снова сижу, на донышко бадейки любуюсь. Мне из моей дыры до этой бадейки, как теперь до мамы родной. Ноги немеют, грудь давит, скажу вам — не именины. Немцы не выудят — сам сдохнешь. Одна радость — бутылочку захватил. Сосу бережно, одергиваю себя. Высосал одну, ночь началась. Пробовал выползти — где там, мышеловка, раскорячкой-то по ослизлым стенам не пролезешь.

К свету натощак вторую бутылку вылакал. Висит бадеечка с копеечку да неба с пятак. Небо мутноватенькое, светать-то светает, но время еще сумеречное.

И вдруг бадейка пошла вниз. Дождался ее — хвать одной рукой, автомат настораживаю, рыло задрал, жду — кто покажется?

Баба, ребята! Платок белеется. Я ей шумлю снизу: «Тяни, голубушка, полегоньку...» Вытянула, подмогла. Без нее бы крышка — сдох. Только стерва ж попалась. Сразу ругаться, шепотком, правда, но боевито: «Такой-сякой, что ты мне ружьем своим тычешь? Сгинь с глаз долой! За тебя меня припекут, подумают, что прячу...» Я уж ей ласковенько: «Тихо, бабонька, тихо... Я пошел, я пошел...» — «Иди, гунявый, задами к пшенице, там авось проползешь до леску...» Само собой, не по главной же улице маршировать, смекаю и без нее...

Только добрался до пшеницы, выгребаю на брюхе к лесу, вдруг от села выстрелы. Думаю: поздненько обо мне вспомнили... Потом-то, когда пришел к своим, сообразил: Япарку провожали, тоже уходил, не простившись...»

У Япарова — дверь не вышибешь, часовой прошьет очередью. В углу сарайчика — поленница. Она и спасла. Переложил ее под стену, крест-накрест, и чтоб не рассыпалась, в руки взял полено, взгромоздился, согнулся под матицей, налег плечами, стал распрямляться...

Часовой забегал кругом — что-то трещит, что-то ломается, крыша шевелится, ничего не понять. Дал очередь в дверь, прошил по стене...

Япаров подпер поднятую крышу поленом, дождался, когда часовой оказался под ним, свалился вниз...

Разбуженные выстрелами немцы прибежали к сарайчику, увидели под стеной мятого и раздавленного часового, крышу, приподнятую, как крышка ящика, разверстую, словно пасть ревущего зверя, заклиненную поставленным торчком поленом... Они не бросились преследовать, постреляли в сторону лесной опушки для очистки совести.

Эти-то выстрелы и услышал Миляга.

То было в начале войны, а теперь — по заснеженной степи горят тысячи костров и молчит испуганно загнанный в темноту противник. Миляга кричит на Япарова, солдаты, теснясь плечами, тянут руки к огню, пережидают ночь. До утра бы дотянуть. Утром наступление...

Коченеют на морозе изломанные стены домов. Сквозь застывшие в судорожной зевоте окна светит луна. Средь пепелищ дремлющими слонами стоят сутулые печи, изгрызенные осколками. Снежок припорошил и пепелища и трупы, что валяются по дорогам.

Ржаво и уныло скрипят зацепившиеся на высоте пятого

этажа кровать и лист кровельного железа. Из подвального разбитого окна на закопченный снег сочится тусклый свет коптилки, доносится звук гармошки, простуженно-сипловатый голос поет об одесских лиманах, цветущих каштанах...

И где-то лениво перестреливаются. Где-то среди камней разбитого города еще прячутся кучки автоматчиков, озлобленных, не надеющихся на пощаду.

Время от времени над скалисто-ломаной вершиной нерухнувшей стены ползет по небу игрушечным солнышком ракета, холодная луна тушуется перед ней.

Простуженный голос выводит:

Ты — одессит, Мишка, а это значит...

Пробежал солдат по тихой улице, забросанной окоченевшими трупами. Пробежал второй, третий, целая компания — все в одну сторону. Доносится слово «пожар», брошенное возбужденным голосом...

Пожары везде и всюду, горят домишки на окраинах, горят застрявшие в развалинах немецкие грузовики, тлеют развороченные снарядами штабные обжитые блиндажи. Никому нет дела.

Но если говорят о пожаре, бегут к нему — значит, что-то особенное.

Горел немецкий госпиталь, большое четырехэтажное здание, одно из немногих оставшихся в городе. Сквозь широкие окна видно — в золотистом пышущем жару с этажа на этаж падают койки, на койках лежат уснувшие от дыма, от угара немецкие раненые.

Розовый дым, усеянный искрами, ввинчивался в черное небо. На расстоянии, на размякшем снегу — толпа людей, замершая в скорбном изумлении. Странная толпа — полушубки и шинели русских солдат вперемешку с мундирами

немцев. На лицах одинаковое выражение — подавленность, беспомощность, натянутая боль. Город разбит, земля в застывшей крови, не убраны трупы, давно ли они расстреливали нас, мы — их. Сейчас в толпе — единство.

Со мной рядом, как ребенка, качает забинтованную руку пожилой немец. В такт раскачиваниям кивает морщинистым, по-бабьи скорбным лицом. Я гадаю — кто поджег? Влетела ли в чердак шальная мина из самых последних или же какой-то фанатик из раненых немцев захотел сам уйти из илена, не пустить в плен других.

Золотятся стропила крыши, и плещет пламя из окон, и валятся внутри койки с больными, уже не сопротивляющимися, уже не цепляющимися за жизнь, покорными.

Толпа, тесно сбившаяся, подавленная, молча топчется. Ничем не поможешь, поздно. С минуты на минуту должна рухнуть кровля.

А между толпой и пожарищем мечется взад-вперед человек на костылях. Поверх нижней рубахи накинут немецкий мундир, трикотажные кальсоны обтягивают тощие ноги, остро ломающиеся в коленях, одна нога босая, другая наглухо запечатана в неуклюжий гипсовый лапоть, костыли вздергивают узкие плечи к ушам. У раненого немца круглое, юное лицо со старчески запавшими глазницами, изумленно открытый рот. Он прыгает на костылях возле огня, то подступая к нему, то отодвигаясь. Время от времени в тишине, нарушаемой лишь треском, скворчанием, глухими ударами рушащихся балок внутри здания, раздается вопль:

— Вилли!

Вопль жалобный и пронзительный, как ночной крик одинокой болотной птицы. И каждый раз от этого крика в толпе колыхание. Только мой сосед продолжает бережно укачивать свою больную руку и сонно кивает в такт голо-

вой. Толпа же, колыхнувшись, снова замирает, наблюдая пляску на костылях перед огнем.

— Вилли!

Может, у этого немца в огне остался брат, может, друг, который стал ближе брата.

— Вилли!!

У меня желание — вырваться из толпы, подбежать к калеке, схватить за плечи, увести: «Полно, дурень ты этакий... Понимаем, что беда...» Но толпа меня держит, ее нерешительность и бездеятельность сковывают. Трусость это? Не совсем — недостаток дерзости. Не могу решиться на то, на что никто не решается. Я стою, вздрагиваю при каждом выкрике:

— Вилли!!

А мой сосед немец укачивает руку.

Кто-то не выдерживает и советует:

— Оттащите его...

Выдвигаются двое дюжих пехотинцев в полушубках, внушительно широкие, казалось бы — сильные, но идут несмело, толпа держит и их.

— Эй, парень, хватит... Не мельтешись...

— Вилли!!

Раненый, заметив их, налег на костыли, падая вперед всем телом, ныряет в дверь, изрыгающую густой дым. Пехотинцы растерянно озираются, пятятся назад. Толпа вздохнула, и вздох ее почти облегченный. Чей-то голос вместе со вздохом:

— Каюк, братцы!..

И в это время, легко разрубая толпу надвое, над касками, ушанками, суконными пилотками немцев движется шапка, туго надвинутая на крупную голову,— Япаров. Он пробивается к огню, оборачивается к толпе и густым басом обкладывает всех:

— Так вашу мать! Вылупились!

Поворачивается широкой спиной, враскачку шагает.

— Куда?

— Свихнулся!

— Осади назад!

Но Япаров, втянув голову в плечи, вошел в дверь.

Прошла минута, другая... Меня охватывает острый стыд. Я же стоял ближе Япарова, раньше мог выскочить, без хлопот увести немца. Теперь в провале дверей — чадная муть и выплескивают рыжие языки пламени. Вместе со стыдом неискренняя, трусливая надежда: «Не сгорит, не тот человек, не в таких переплетах бывал...»

И вдруг горящее здание заскрежетало, толпа шарахнулась, потащила меня от пожара спиной вперед. Сверху на снег стали рушиться горящие балки; ударяясь о землю, ломались и шипели. Едкий густой чад, крутящийся вихрь искр и тлеющих клочьев над головой...

Главная улица города в мрачных развалинах. По улице катится и катится без конца неряшливый поток пленных. Вторые сутки не прерывается поток. Одеяла, мятые шинели, бабьи платки, тряпье, нелепые соломенные ступни на обмороженных ногах, черные, в грязи, в копоти лица, утерявшие способность выражать даже горе,— парад нищеты и отчаяния. С утра до вечера несмолкающее глухое шарканье тысяч ног...

А по соседству с главной улицей, во дворике с горбатой и черной печью, среди стынущих на морозе корявых яблонь, мы долбили землю. Могила походила на окоп, каких много мы оставили на своем пути.

Мы рыли просторную могилу, помня, что занять ее придется человеку, который в обычном окопе не помещался. Но завернутое в плащ-палатку тело было маленьким, могло

принадлежать и подростку. Япарова вынули из пепелища обгоревшим наполовину.

В прошлую ночь и этим днем меня не оставлял смутный стыд, я мучился от тихого презрения к себе. И вот сейчас, когда я долбил мерзлую землю, готовил могилу, чувствовал Япарова живым. Уже не сомневался — он мог страдать, мог любить, наверно, сильней, чем я.

На холмик промороженной земли положили каску, воткнули табличку, старательно написанную химическим карандашом. Подняли в небо автоматы...

Далеко фронт, он ушел от нас на сотни километров, к Украине. Теперь мы в глубоком тылу. В разбитом городе — непривычная тишина. Наш залп, наши выстрелы были последними выстрелами здесь, самыми последними. Сухой звук автоматных очередей увяз в развалинах.

Глаза Миляги в воспаленных веках столкнулись с моими. Он весь потемнел, ссохся, на кончике сизого носа висела сиротливая прозрачная капля.

— Дурак Япарка... Право, дурак...— выдавил он тускло и почти просительно.— Всегда сухим выходил... А тут полез... Из-за кого?

Миляга оставался самим собою — и сейчас упрекал своего друга.

— Эх, недоделанный...

Высморкался, отвернулся, пошел прочь — походка дерганая, одно плечо выше другого.

А с главной улицы, в непривычной, в невоенной тишине слышался невнятный шум, похоже — в гигантской квашне сопело бродящее тесто. Это было шарканье многих тысяч обмотанных тряпьем ног по снежной дороге. Завоеватели уходили из незавоеванного города.

СОДЕРЖАНИЕ

«Я на горку шла...» . . . 3
Письмо, запоздавшее на двадцать лет . . 31
Костры на снегу 53

Владимир Федорович Тендряков

КОСТРЫ НА СНЕГУ

Ред. *В. М. Курганова*
Художник *А. Я. Салтамов*
Худож. ред. *Э. А. Розен*
Тех. ред. *В. А. Авдеева*
Корректор *В. Л. Данилова*

Сд. в наб. 31/III-64 г. Подп. к печ. 1/VI-64 г. Ф. б. 70×108 1/32. Физ. печ. л. 2,25. Усл. печ. л. 3,15. Уч.-изд. л. 3,15. Изд. инд. ХЛ-716. А04017. Тираж 100 000 экз. Цена 9 коп. Доп. к тем. плану 1964 г. № 54.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ № 111.

Советская Россия

В СЕРИИ

„КОРОТКИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ"

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

Г. Бакланов. **Почем фунт лиха.** Рассказы. 28 стр., 3 коп.
Н. Коноплин. **Вега — звезда утренняя.** Рассказы. 116 стр., 15 коп.
Б. Иванов. **Фарфоровый аист.** Рассказы. 80 стр., 9 коп.
Ю. Нагибин. **Страницы жизни Трубникова.** Повесть. 102 стр., 12 коп.
Л. Уварова. **Ночной разговор.** Рассказы. 123 стр., 16 коп.
Л. Образцов. **Новый дом.** Рассказы. 88 стр., 11 коп.
Г. Остапенко. **Обыкновенное золото.** Рассказы. 72 стр., 8 коп.
А. Коваленков. **Выше любви.** Рассказы. 96 стр., 11 коп.
И. Зверев. **Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева.** Непридуманные рассказы. 136 стр., 16 коп.
Ц. Галанов. **Первый снег.** Повести. 144 стр., 16 коп.
А. Ющенко. **Не считая воскресенья.** Повесть. 80 стр., 9 коп.
Э. Шабаев. **Вырос камушек.** Повесть.
С. Львов. **Полтора месяца в жизни Тамары.** Повесть.
С. Наумов. **Лена и степь.** Рассказы.
Н. Нефедов. **Мужички.** Повесть.

Книги продаются в магазинах Книготорга, потребительской кооперации, а также в киосках Союзпечати.